



Вацлав Гавел — заслуга ли в том его общественной активности или, наоборот, вина (многие придерживаются первой точки зрения, а многие упрекают его в излишней политизированности) — является, бесспорно, самым известным, признаваемым и в то же время чаще других критикуемым чехом за последние тридцать лет чешской истории. Книга, которую я имею честь представить российскому читателю,¹ не претендует ни на репрезентативное отражение богатого драматического творчества Гавела, ни на полноту охвата его эссеистики, философских статей и речей. Тем не менее книга эта по своему составу и замыслу весьма примечательна. Раздел, посвященный драматургии Гавела, содержит не слишком известные пьесы, которые, однако, чрезвычайно важны для его творчества. Знакомство с этими пьесами — наряду с более популярными, которые часто ставились, — позволит читателям лучше и глубже понять присущее Гавелу чувство юмора, в «Гостинице в горах» переходящее в отчаянный трагизм потери человеком способности к общению, в настолько безысходный в итоге обмен бессмысленными репликами между действующими лицами, что улыбка застывает на устах... В пьесе же «Завтра это свершится» автор предстает человеком, глубоко интересующимся новейшей историей своей страны и умеющим проникнуть в психологию политических деятелей, в ряд которых со временем встанет и сам Гавел.

Утрата людьми способности понять друг друга, превращение речи в ничего не значащую болтовню и ощущение угрозы смыслу существования тех, у которых отняли речь или которые сами по доброй воле делают ее невразумительной, дабы не нести ответственности за ее содержание и смысл, ибо то и другое к чему-то обязывает, — в этом суть многих драматургических произведений Вацлава Гавела. Составительница сборника и одновременно переводчица включенных в него сочинений Гавела дает читателю возможность убедиться в этом и найти в драматургии Гавела глубинное чувство гражданской ответственности, которое с самого начала его творческой деятельности предопределило тот факт, что он просто не мог не политизировать.

Как именно Гавел политизирует, то есть каким образом берет на себя ответственность за состояние общества, как определяет смысл гражданственности, что значат для него понятия «гражданин» и «власть» — все это раскрывается во второй части книги, которая начинается с известного эссе 1975 года «Письмо Густаву Гусаку». Каждый, кто хоть немного знаком с биографией Вацлава Гавела, знает, что уже за десять лет до этого письма его автор, будучи членом редколлегии журнала «Тварж» и председателем Актива молодых писателей, поднимал в своих выступлениях вопросы свободы и ответственности, в результате чего в 1969 году был обвинен в подрывной деятельности против республики.

Вацлав Гавел, как видно из других публикуемых в книге эссе и его речей, — вовсе не подрыватель устоев. Это чешский интеллигент, неразрывно связанный с европейской культурой и нравственной средой — благодаря ценностям, которые он признает и бескомпромиссно отстаивает всегда и везде, даже, как об этом свидетельствуют его многочисленные аресты, рискуя потерять свободу.

Итак, Вацлав Гавел — это чешский интеллигент, что в моих глазах значит намного больше, чем чешский политик, ибо, в отличие от обычных политиков, в творчестве и жизни Вацлава Гавела не отыщется и намек на политический прагматизм, каковое выражение ныне слишком уж часто служит эвфемизмом для беспринципности. И если сегодня Вацлав Гавел часто выступает объектом безжалостной критики со стороны представителей ведущих чешских политических партий, то именно потому, что он делает то, что, как я убежден, составляет главную обязанность каждого ответственного интеллигента: вновь и вновь пытается обратить политиков и общество в целом к самым истокам, к самому смыслу существования, который, по его мнению, заключается в его духовности, к высшему смыслу всякого индивидуального и общественного бытия и — что особенно важно — к диктату ответственности. Кто не хочет нести ответственность за свою среду и мир, в котором мы живем, тот рано или поздно утратит внутреннюю свободу.

Таким мне видится смысл пьес и эссе Вацлава Гавела, часть которых я посредством этой книги представляю сегодня российскому читателю.

Л. Добровский

¹ Вацлав Гавел. Гостиница в Горах. М., МИК, 2000. Перевод И. Безруковой.

ГОСТИНИЦА В ГОРАХ

Действующие лица:

д-р Йозеф КУБИК, писатель
граф Сергей Ильич ОРЛОВ
Йозеф ТИЦ
Йозеф ДЛАСК
РАХИЛЬ
Вилем ПЕХАР
МИЛЕНА, официантка
ПЕХАРОВА
ЛИЗА
Йозеф ДРАШАР, директор гостиницы
Йозеф КРАУС, заместитель директора гостиницы
КОТРБА
КУНЦ

Действие происходит в саду «Гостиницы в горах» в наши дни.

Первое действие

(Сцена представляет сад «Гостиницы в горах». На заднем плане — терраса, соединенная большой аркой с гостиничным холлом; несколько ступеней ведет с террасы в сад, расположенный на авансцене. На террасе — два столика и стулья; в саду с левой стороны столик под большим тентом и несколько легких стульев, а с правой — скамейка. Когда открывается занавес, на террасе за левым столиком зритель видит КУБИКА, читающего газету, а за правым — КОТРБУ, который хотя и следит за происходящим с живейшим интересом, на протяжении всей пьесы хранит молчание. За столиком в саду сидит РАХИЛЬ. Она вяжет: на столе перед ней лежит ее сумочка, а оттуда тянется шерстяная нитка. На скамейке справа сидит ОРЛОВ, посреди же сцены на одеяле в одних трусах и с соломенной шляпой на голове — ПЕХАР. Вокруг него разложены разные предметы: например, термос, маленькое зеркальце, расческа и т.п. Он усердно натирается кремом для загара, вполголоса напевая песенку из кинофильма «Доктор Живаго».)

ПЕХАР *(поет)*. Рад бы пристать

я к вашим берегам,
близ вас мечтать
порой рассветной там...
Где крылья взять,
чтоб быть как ветер сам?
Где крылья взять,
чтобы домчатся к вам?

(Пение ПЕХАРА переходит в невнятное мычание, сопровождающее дальнейший диалог. Через некоторое время на сцену из левой кулисы выкатывается мяч. За ним выходит ТИЦ. Подняв мяч, он оглядывает присутствующих и замечает ОРЛОВА.)

ТИЦ. Где вы были после обеда?

ОРЛОВ. Малость вздремнул.

ТИЦ. После обеда? Какая глупость! Что же вы будете делать ночью? Опять не сможете заснуть...

ОРЛОВ. Приму снотворное.

ТИЦ. Об этом и думать забудьте! Или вы хотите вконец загубить почки? *(ТИЦ садится рядом с ОРЛОВЫМ на скамейку, положив мяч себе на колени. ПЕХАР перестает мычать. Пауза.)* Как у вас утром, получилось? *(ОРЛОВ машет рукой.)* Опять ничего? *(ОРЛОВ мотает головой.)* Это потому, что вы не пьете компотов.

(Пауза. Затем ПЕХАР, не переставая натирается кремом, обращается к КУБИКУ, на которого, впрочем, не смотрит.)

ПЕХАР. Послушайте, доктор...

КУБИК *(отрываясь от газеты)*. Да-да?

ПЕХАР. Вы, может быть, считаете, что это не наше дело...

КУБИК. Что?

ПЕХАР. Да только это, можно сказать, касается всех нас...

ПЕХАРОВА *(за сценой)*. Вилем!

КУБИК. Я не возьму в толк, что вы имеете в виду.

ПЕХАР. Послушайте, ведь у директора как-никак день рождения, верно? Ну, и мы хотим это отметить, чтобы он был с нами поласковее. В конце концов мы все в этом заинтересованы — или не так?

ПЕХАРОВА (за сценой). Вилем!
КУБИК. Вы, должно быть, хотите сказать, что мне там лучше не появляться...
(Из правой кулисы выходит ЛИЗА с охапкой цветов. ОРЛОВ при виде ее тут же вскакивает.)
ОРЛОВ. Лиза...
ЛИЗА (останавливается). Да?
(ОРЛОВ подходит к ней ближе.)
ОРЛОВ (тихо). Я не верю, что вы обо всем забыли!
ЛИЗА. Я же вам уже говорила, что вы, наверное, обознались: я никогда не была в Париже. (Собирается уходить.) Позвольте мне пройти.
ОРЛОВ (преграждает ей путь). Помните, как мы познакомились у букиниста Врубцовского на бульваре Сен-Жермен? Как читали вдвоем «Песни Мальдорора» и «Надю»?²
ЛИЗА. Сожалею, граф...
(Обогнув ОРЛОВА, ЛИЗА выходит в левую кулису. ОРЛОВ спешит за ней.)
ОРЛОВ (за сценой). Лиза! Лиза!
ПЕХАРОВА (за сценой). Вилем!
(ПЕХАР перестает натираться кремом и выливает в траву содержимое своего термоса.)
ПЕХАР. Ведь вам все равно, пойти туда или не пойти. Зачем же его провоцировать? Могли бы и сами понять это и не усложнять ситуацию.
(Из левой кулисы выходит ПЕХАРОВА с вязаной жилеткой в руках.)
ПЕХАРОВА (ПЕХАРУ). Вот ты где! Почему не откликаешься, когда я тебя зову?
ПЕХАР. В чем дело?
ПЕХАРОВА. Я принесла тебе жилетку.
ПЕХАР. Зачем мне жилетка?
ПЕХАРОВА. В таком виде тебе тут оставаться нельзя.
ПЕХАР. Да ведь тепло.
ПЕХАРОВА. Солнце обманчиво, Вилем. Не забывай, что уже сентябрь: оно светит, но от земли тянет холодом. Вспомни-ка, что было в прошлом году! Ты тогда тоже изображал из себя героя, а потом это тебе аукнулось. Вот, надень... (ПЕХАРОВА опускается на колени и помогает ПЕХАРУ натянуть жилетку. Тихо.) Ну, что? Насчет пансионата тоже?
ПЕХАР. Гм...
ПЕХАРОВА. А она что?
ПЕХАР. Ничего.
ПЕХАРОВА. Это хорошо. (ПЕХАРОВА уже одела ПЕХАРА и заглядывает в его термос. Тем временем из правой кулисы выходит ОРЛОВ и со смущенным видом опять садится на скамейку рядом с ТИЦЕМ.) Я принесу тебе чаю.
ПЕХАР. Я не хочу.
ПЕХАРОВА. Да ведь у тебя там уже ничего нет!
(ПЕХАРОВА спешит с термосом в гостиницу. Пауза.)
ОРЛОВ. Полагаю, что скоро я вас покину.
РАХИЛЬ (поднимая глаза от вязания). Вам наше общество наскучило?
ОРЛОВ. Не могу подолгу задерживаться на одном месте. Такой уж у меня характер.
РАХИЛЬ. Нам вас будет недоставать.
(ПЕХАР снимает жилетку и, аккуратно сложив ее, кладет рядом с собой, после чего опять начинает натираться кремом. Пауза. Где-то вдалеке гудит поезд, и все одновременно смотрят на часы. Через какое-то время из гостиницы выходит ДЛАСК; в одной руке у него бутылка вина, а в другой — два бокала. Он оглядывает присутствующих и, заметив КУБИКА, подходит к его столику.)
ДЛАСК. Вы позволите?
КУБИК (удивленно поднимает глаза от газеты). Конечно... пожалуйста...
(КУБИК указывает ДЛАСКУ на стул и опять погружается в чтение. ДЛАСК садится и разливает по бокалам вино.)
ДЛАСК. Это вам.
КУБИК (поднимает глаза от газеты). Простите?
ДЛАСК. Я говорю, это вам.
КУБИК (растерянно). Мне? Ну, зачем вы...
(ДЛАСК с улыбкой придвигает бокал к КУБИКУ. Тот откладывает газету и берет бокал. ДЛАСК чокается с ним.)
ДЛАСК. Знаете, за что?
КУБИК. За что?
ДЛАСК. Так... вообще...

² «Песни Мальдорора» – сборник французского поэта Лотреамона (наст. имя Изидор Дюкас, 1846–1870). «Надя» – роман французского писателя-сюрреалиста Андре Бретона (1896–1966).

КУБИК. Спасибо... *(Оба пьют. Пауза. После этого ДЛАСК вытаскивает из кармана колоду карт, ловко тасует ее, щелкает картами и призывно улыбается КУБИКУ.)* Извините, я не играю.

ДЛАСК. Правда?

КУБИК. Увы...

ДЛАСК. Какая жалость! *(Разочарованно засовывает карты в карман. Пауза.)* Вам уже лучше?

КУБИК. Мне? В каком смысле?

ДЛАСК. Говорят, вам было плохо...

КУБИК. Когда?

ДЛАСК. Вчера, когда отмечали день рождения директора. Я удивился, что вас там не было, и мне сказали, что вам нехорошо...

КУБИК. Ах, вот вы о чем.

ДЛАСК. Могли бы и заглянуть туда хоть ненадолго.

КУБИК. Я решил, что так будет лучше.

ДЛАСК. Я бы на вашем месте пришел! *(Пауза.)* Вы ночью писали?

КУБИК. Нет.

ДЛАСК. Но у вас горел свет...

КУБИК. Я не мог заснуть и немного почитал...

ДЛАСК. Так почему же вы не писали, раз не могли уснуть?

КУБИК. Да так... не хотелось...

ДЛАСК. Что, мысли в голову не приходили?

КУБИК. Пожалуй что так...

ДЛАСК. А и в самом деле, почему, собственно, они всегда должны приходиться? Ведь писать — это вам, черт побери, не канаву рыть! Тут нужно еще и вдохновение, правда?

КУБИК. Гм...

ДЛАСК. То оно есть, то его нет, ему ведь не прикажешь. Я, конечно, человек простой, вам и в подметки не гожусь, но я вас отлично понимаю. Я ведь тоже пробовал...

КУБИК. Писать?

ДЛАСК. Так, ерунду всякую...

КУБИК. Как знать...

ДЛАСК. Да уж я-то знаю...

(Из гостиной выходит МИЛЕНА, одетая как официантка. Она несет поднос, на котором стоят стаканы с соком. В первую очередь она подходит к КОТРБЕ.)

МИЛЕНА. Прошу вас... *(КОТРБА берет стакан и благодарно кивает. Потом МИЛЕНА предлагает сок КУБИКУ и ДЛАСКУ.)* Пожалуйста, господа...

(ДЛАСК отрицательно качает головой; тогда МИЛЕНА спускается в сад и подходит к РАХИЛИ, которая берет стакан.)

РАХИЛЬ. Спасибо, Милена...

(МИЛЕНА направляется к ТИЦУ и ОРЛОВУ; ТИЦ берет с подноса два стакана.)

ТИЦ *(ОРЛОВУ)*. Вот, возьмите...

ОРЛОВ. Я не хочу пить...

ТИЦ. Но вам нужны витамины...

(ОРЛОВ берет стакан; МИЛЕНА предлагает сок ПЕХАРУ, но тот продолжает натирать себя кремом, демонстративно не замечая МИЛЕНУ. Неловкая пауза.)

МИЛЕНА. Попить не хочешь? *(Пауза, ПЕХАР не отвечает.)* Ты со мной не разговариваешь?

ПЕХАР. Отойди от меня!

МИЛЕНА. Что случилось?

ПЕХАР. Сказано тебе: отойди!

МИЛЕНА. Ты на меня сердисься?

ПЕХАР. Ты не расслышала?

(Пауза.)

МИЛЕНА. Я что, уже не могу перекинуться парой слов с постояльцем?

ПЕХАР. Вы больше часа провели вдвоем в теплице, и можно подумать, я не знаю, что он тебе там говорил! Ты ведешь себя как самая настоящая шлюха!

МИЛЕНА. Вилем!

ПЕХАР. Что он увезет тебя отсюда! Ц-ц-ц!.. Что отправит тебя повышать квалификацию! Ц-ц-ц!.. Что ради тебя он разведется, а потом вы вдвоем откроете собственный пансионат! Какая наглая ложь! Ведь он без своей женушки и шагу ступить не смеет! Готов поспорить, он и соблазнять-то тебя начал с ее разрешения, и неизвестно еще, не сама ли она за него придумывает, что тебе наболтать, только бы он добился своего, да так, чтобы это его ни к чему не обязывало.

МИЛЕНА. Все это я знаю, Вилем. А его предложения я в одно ухо впускаю, а в другое — выпускаю.

ПЕХАР. Если бы ты не принимала их всерьез, ты бы не слушала их целый час в теплице! Но запомни: еще один раз — и между нами все кончено!

МИЛЕНА. Послушай: какой бы он ни был, ведет он себя куда достойнее, чем ты. При том, что он меня любит и знает о наших с тобой отношениях, он не сказал о тебе ни одного худого слова.

ПЕХАР. Еще бы! Ведь я ему очень даже кстати. Он же понимает, что, когда ты ему надоешь, ему куда легче будет от тебя избавиться, если рядом окажусь я. Да только я вам не мусорная корзина! Поэтому говорю тебе в последний раз: или он, или я!

МИЛЕНА *(резко)*. Ладно!

(МИЛЕНА решительным шагом уходит со своим подносом в гостиницу. ПЕХАР слегка растерян, он непонимающе крутит головой, озираясь по сторонам и глупо улыбаясь. Никто не обращает на него внимания, кроме КОТРБЫ, который тоже вертит головой и глупо улыбается. Пауза.)

ТИЦ *(ОРЛОВУ)*. Как погуляли?

ОРЛОВ. Я не гулял...

ТИЦ. Что? Вы не гуляли?

ОРЛОВ. Нет.

ТИЦ. Такой день... ни облачка... свежий ветерок — а вы торчите дома! Я вас просто не понимаю. Я, например, с утра уже успел побывать у верхнего шлюза, посмотреть, не растут ли маслята, потом помогал садовнику, потом часок позагорал на крыше, а после обеда играл с поваром в мяч. Вы же сами себе вредите, упорно ведя такой неподвижный образ жизни! Стоит ли после этого удивляться, что вам все время плохо! Что, к примеру, вы делали до обеда?

ОРЛОВ. Сегодня до обеда?

ТИЦ. Ну да.

ОРЛОВ. Почитал немного...

ТИЦ. Копии своих старых писем, что ли?

ОРЛОВ. Мгм...

ТИЦ. Да вы ведь их, наверное, уже все наизусть выучили!

(Пауза; затем РАХИЛЬ, отложив вязание, смотрит на ОРЛОВА.)

РАХИЛЬ. Вы когда-нибудь бывали в Намешти, Сергей Ильич?

ОРЛОВ. Где, простите?

РАХИЛЬ. В Намешти, в Моравии.

ОРЛОВ. К сожалению, нет.

РАХИЛЬ. Я там родилась.

ОРЛОВ. Прямо там?

РАХИЛЬ. Да.

ОРЛОВ. А я и не знал...

РАХИЛЬ. Мой отец был старшим лесничим у графа Хауквица. В Намешти я провела почти все детство — так сказать, в слиянии с лесом, озерами, зверями. Я была этакий заморыш, самая младшая из восьми детей, и можете себе представить: вечно шаталась где-то с братьями и сестрами... Думаю, именно тогда я приучилась к самостоятельности.

ОРЛОВ. Ранние детские годы очень важны для формирования характера.

РАХИЛЬ. Как хорошо вы это сказали, Сергей Ильич! Как верно: ранние детские годы очень важны для формирования характера! Но иногда я задаю себе вопрос, зачем нужна была мне эта самостоятельность, ведь все равно я ни разу в жизни не была по-настоящему счастлива...

ОРЛОВ. Почему вы решили, что никогда не были счастливы?

РАХИЛЬ. Я, конечно, пользовалась успехом у мужчин, но не у тех, которые мне нравились...

(РАХИЛЬ ненадолго погружается в воспоминания, а потом со вздохом опять принимается вязать. Пауза.)

ДЛАСК *(КУБИКУ)*. Ничего, что я к вам подсел?

КУБИК. Ничего.

ДЛАСК. Может, вы хотели побыть в одиночестве?

КУБИК. Не хотел.

ДЛАСК. Сначала я сомневался... думал: ты ему неинтересен, у него своих забот хватает... но в конце концов решил: он такой же постоялец, как и ты, так почему бы к нему не подсесть?

КУБИК. Очень мило с вашей стороны.

(Пауза. Затем РАХИЛЬ, перестав вязать, пристально смотрит на ТИЦА. ТИЦ замечает это и в свою очередь смотрит на нее. РАХИЛЬ откладывает в сторону вязание, а ТИЦ машинально отдает ОРЛОВУ мяч. После этого РАХИЛЬ и ТИЦ, не сводя друг с друга глаз, медленно встают и идут в гостиницу. Пауза.)

ДЛАСК. Я, знаете, церемоний не люблю. Если мне человек симпатичен и есть возможность с ним поговорить по душам, я прямо так к нему не раздумывая и подхожу.

КУБИК. Это правильно, хотя с другой стороны...

ДЛАСК. Что — с другой стороны? Какая тут может быть другая сторона?

КУБИК. Я хотел только сказать, что вам следовало бы немного думать и о себе.

ДЛАСК. Послушайте, доктор, я, конечно, не герой, а простой человек, как все, но я и не какой-нибудь там трус. И всегда могу за себя постоять. Всегда!

(Пауза. Потом ОРЛОВ обращается к ПЕХАРУ, который опять натирает себя кремом.)

ОРЛОВ. Можно вас кое о чем спросить?

ПЕХАР. Давайте.
ОРЛОВ. Вы не боитесь иногда?
ПЕХАР. Я? Чего?
ОРЛОВ. Ну так, вообще...
ПЕХАР. Что это вам в голову пришло?
(ПЕХАР перестает натираться, закрывает и откладывает в сторону тюбик с кремом, снимает шляпу и начинает причесываться. При этом он вполголоса напевает свою песенку.)
ПЕХАР *(поет)*. Где крылья взять, чтобы домчаться к вам...
(Занавес опускается)

Второе действие

(На террасе за столиком слева сидят КУБИК и ТИЦ, на столике лежат мяч ТИЦА и газета КУБИКА; за столиком справа сидит КОТРБА. За столиком в саду сидит РАХИЛЬ, занятая вязанием; на скамейке справа сидят ОРЛОВ и ДЛАСК, оба держат в руках бокалы с вином, а на земле у их ног стоит бутылка. Посреди сцены на одеяле, как в первом действии, сидит ПЕХАР, который внимательно смотрит на себя в зеркальце, время от времени делая различные гримасы. Длительная пауза.)

ОРЛОВ. Вы слышите?
ПЕХАР. Что?
ОРЛОВ. Лето...
ПЕХАР *(прислушивается)*. Пчелы?
ОРЛОВ. Пчелы, птицы, леса, реки, люди — точь-в-точь как там...
ПЕХАР. Где?
(ОРЛОВ какое-то время задумчиво смотрит перед собой, по его щеке стекает слеза. Пауза.)
ТИЦ *(КУБИКУ)*. Но на солнышке-то вы хоть погрелись?
КУБИК. Вы же знаете, что я не выношу солнца.
ТИЦ. Значит, и на крыше не позагорали?
КУБИК. Нет.
ТИЦ. В таком случае не удивительно, что вы выглядите так, как выглядите!
КУБИК. А как я выгляжу?
ТИЦ. Краше в гроб кладут.
КУБИК. Правда?
ТИЦ. Давайте как-нибудь встанем рядом перед зеркалом в вестибюле — и вы сами увидите! *(Берет у КУБИКА газету.)* Сегодняшняя?
КУБИК. Вряд ли.
(ТИЦ кладет газету на стол. После этого ДЛАСК вытаскивает из кармана колоду карт, ловко тасует ее, щелкает картами и призывно улыбается ОРЛОВУ.)
ОРЛОВ. Извините, я не играю.
ДЛАСК. Правда?
ОРЛОВ. Увы...
ДЛАСК. Какая жалость! *(Разочарованно засовывает карты в карман.)*
ТИЦ *(КУБИКУ)*. А вообще как?
КУБИК. В каком смысле?
ТИЦ. Ну, как у вас на душе? Думаю, не очень...
КУБИК. Да нет, ничего.
ТИЦ. Вы еще скажите, что сегодня самый счастливый день в вашей жизни!
КУБИК. Этого я не утверждаю, но во всяком случае мне лучше, чем позавчера.
ТИЦ. Ну, если равняться на позавчерашнее...
(Из левой кулисы выходит ЛИЗА с охапкой цветов. ОРЛОВ при виде ее тут же вскакивает.)
ОРЛОВ. Лиза...
ЛИЗА *(останавливается)*. Да?
ОРЛОВ *(тихо)*. Умоляю вас, перестаньте наконец разыгрывать эту комедию!
ЛИЗА. Извините, граф, но я не понимаю, о чем вы. *(Собирается уходить.)* Позвольте мне пройти.
ОРЛОВ *(преграждает ей путь)*. Помните наши долгие ночные прогулки по Латинскому кварталу, когда я рассказывал вам о своей переписке с Львом Троцким? Помните, как вы приходили по воскресеньям в мою студенческую мансарду на Рю Жакоб? Неужели это вам ни о чем не говорит?
ЛИЗА. Не говорит.
(Обогнув ОРЛОВА, ЛИЗА выходит в правую кулису. ОРЛОВ спешит за ней.)
ОРЛОВ *(за сценой)*. Лиза! Лиза!
(Пауза. Затем ПЕХАР, который все еще строит гримасы перед зеркальцем, обращается к КУБИКУ.)
ПЕХАР. Если вы думаете, доктор, что повели себя правильно, то глубоко заблуждаетесь.

КУБИК. Это вы о вчерашнем дне рождения? Но ведь все прошло хорошо, и никто не дал мне понять, что мое присутствие...

ПЕХАР. Оставьте, доктор! Вы прекрасно понимаете, что никто не мог вам ничего сказать, потому что вы просто поставили нас перед фактом, нарочно подстроили все так, что нам оставалось только молчать. На это-то вы и рассчитывали!

КУБИК. Неправда...

ПЕХАР. Очень даже правда. Вы злоупотребили нашей порядочностью, хотя отлично сознавали, какие это будет иметь для нас последствия. С вашей стороны это был самый настоящий моральный террор!

КУБИК. Ну, знаете...

(Из гостиной между тем вышла ПЕХАРОВА с термосом. Она неслышно приблизилась к ПЕХАРУ и теперь наливает из термоса чай в крышечку.)

ПЕХАР. Если человек калека, то это еще не дает ему права требовать от здоровых, чтобы они из сострадания к нему тоже калечились. Вы повели себя бестактно.

(ПЕХАРОВА дает ПЕХАРУ крышечку от термоса с чаем. ПЕХАР выпивает чай и бросает крышечку в траву. ПЕХАРОВА берет снятую мужем жилетку и опять натягивает ее на него. Из левой кулисы возвращается ОРЛОВ и с унылым видом садится на скамейку рядом с ДЛАСКОМ.)

ПЕХАРОВА *(тихо)*. Вилем...

ПЕХАР. Что?

ПЕХАРОВА. Та сцена была ни к чему.

ПЕХАР. Какая сцена?

ПЕХАРОВА. Она не питает к нему никаких чувств, и все эти разговоры в теплице всерьез не принимает. Ты к ней несправедлив.

ПЕХАР. Тогда зачем она его слушает?

ПЕХАРОВА. Из вежливости. Поверь мне, Вилем: ты только понапрасну все усложняешь. Надо бы тебе перед ней извиниться.

ПЕХАР. Ц-ц-ц!

ПЕХАРОВА. Ну, так хоть намекни ей, что ты на нее больше не сердись.

(ПЕХАРОВА, надев на ПЕХАРА жилетку, закрывает термос, ставит его на одеяло и уходит в гостиницу. Пауза.)

ОРЛОВ. Полагаю, что скоро я вас покину.

РАХИЛЬ *(поднимая глаза от вязания)*. Это действительно необходимо, Сергей Ильич?

ОРЛОВ. Просто я люблю перемены — как перелетная птица...

(ПЕХАР снимает жилетку и, аккуратно сложив ее, кладет рядом с собой, после чего опять начинает строить гримасы перед зеркальцем. Пауза.)

ДЛАСК *(ОРЛОВУ)*. Госкуете? *(ОРЛОВ кивает.)* А вот я вспоминать не люблю. Я, знаете ли, гляжу скорее вперед, чем назад. Прошное мне неинтересно. Поэтому я почти ничего и не помню. Ну, там молодость и все такое... Просто меня это никогда не занимало. Так что рассказать мне вам о себе нечего. Меня интересует лишь то, что происходит сейчас.

ОРЛОВ. Вам можно только позавидовать.

(Пауза.)

ДЛАСК. Я вам не мешаю?

ОРЛОВ. Нет.

ДЛАСК. Я, видите ли, страшно люблю завязывать новые знакомства. В отличие от многих других. Вы не представляете, сколько людей этого терпеть не может. А я обожаю задавать вопросы. *(Пауза.)* Вы тоже любите новые знакомства?

ОРЛОВ. В общем-то да...

ДЛАСК. Значит, мы с вами похожи и, черт возьми, могли бы понять друг друга. Я человек хотя и простой, со своей образованностью вам и в подметки не гожусь, зато со мной весело. Вы любите повеселиться?

ОРЛОВ. Когда как.

ДЛАСК. А кроме того, у меня есть нюх. Я имею в виду, на людей. Уж в людях-то я разбираюсь. Они меня, знаете ли, интересуют, кто бы это ни был. Вот почему я люблю новые знакомства.

(Из гостиной выходит МИЛЕНА с подносом, на котором стоят стаканы с соком. В первую очередь она подходит к КОТРБЕ.)

МИЛЕНА. Прошу вас... *(КОТРБА берет стакан и благодарно кивает. Потом МИЛЕНА предлагает сок ТИЦУ и КУБИКУ. ТИЦ берет с подноса два стакана.)*

ТИЦ *(КУБИКУ)*. Вот, возьмите...

КУБИК. Я не хочу пить.

ТИЦ. Но вам нужны витамины!

(ОРЛОВ берет сок. МИЛЕНА спускается в сад и подходит к РАХИЛИ, которая берет стакан.)

РАХИЛЬ. Спасибо, Милена...

(МИЛЕНА направляется к ДЛАСКУ и ОРЛОВУ.)

МИЛЕНА. Пожалуйста, господа...

(ДЛАСК отрицательно качает головой; тогда МИЛЕНА оборачивается к ПЕХАРУ; но тот смотрит в зеркальце и не обращает на нее внимания. МИЛЕНА какое-то время раздумывает, а потом направляется к гостинице.)

ПЕХАР. А как же я?

МИЛЕНА *(останавливается)*. Извините, я думала, что... *(Возвращается к ПЕХАРУ и протягивает ему поднос. ПЕХАР тут же со смехом втаскивает ее к себе на одеяло. Поднос и стаканы летят в траву.)* Вы что, с ума сошли? Посмотрите, что вы наделали!

(ПЕХАР привлекает девушку к себе.)

ПЕХАР. Ну что, уедем вместе?

МИЛЕНА. А как же ваша жена?

ПЕХАР. Это уж моя забота.

МИЛЕНА. Мне нужно подумать... это так неожиданно... у меня есть тут кое-какие обязательства...

ПЕХАР. Я слышал, он опять устроил вам сцену?

МИЛЕНА. Мгм...

ПЕХАР. И что же он говорил?

МИЛЕНА. Ему все известно.

ПЕХАР. Что?

МИЛЕНА. Все, что вы говорили мне в теплице — о повышении квалификации, о пансионате...

ПЕХАР. Откуда он узнал?

МИЛЕНА. Понятия не имею. Но он вас последними словами поносил: мол, все это ложь, мол, вас только одно интересует, а с женой вы никогда не разведетесь. Мало того, он говорит, вы и со мной-то с ее разрешения встречаетесь...

ПЕХАР. А вы что на это ответили?

МИЛЕНА. Что вы о нем так плохо не отзываетесь.

ПЕХАР. Думаете, это было разумно — подливать масла в огонь?

МИЛЕНА. А знаете, что он сказал? Что вы хотите, чтобы я с ним и дальше встречалась — чтобы вам потом было легче меня бросить.

ПЕХАР. Ну надо же, какие абсурдные мысли могут прийти в голову ревнивца! И что вы собираетесь делать?

МИЛЕНА. Думаю, между нами все кончено.

ПЕХАР. Навсегда?

МИЛЕНА. Хватит с меня этих сцен.

ПЕХАР. Я вас понимаю. Но с другой стороны, можно понять и его: он ревнует, потому что любит вас.

МИЛЕНА. А вам это безразлично?

ПЕХАР. Безразлично. Но в то же время мне жаль его, ведь кому как не мне знать, что от любви к вам можно сойти с ума! Ведь он в сущности несчастный человек, поэтому, если вы и впрямь хотите с ним расстаться, надо сделать это бережно, постепенно, спокойно, по возможности без скандалов...

МИЛЕНА. Кажется, его вы жалеете больше, чем меня!

ПЕХАР. Но ведь это и в ваших интересах...

(МИЛЕНА отодвигается от ПЕХАРА, какое-то время задумчиво смотрит себе под ноги, а потом тихо говорит.)

МИЛЕНА. Вилем...

ПЕХАР. Да?

МИЛЕНА. Вы совсем не ревнуете?

ПЕХАР. Еще как! Но я стараюсь владеть собой.

МИЛЕНА. У вас это удивительно хорошо получается.

ПЕХАР. Это вам только кажется. *(МИЛЕНА еще какое-то время раздумывает, а потом резко поднимается. ПЕХАР пытается ее удержать, но она вырывается.)* Что с вами? В чем дело?

(Взволнованная МИЛЕНА убегает в гостиницу. ПЕХАР немного растерян, он непонимающе крутит головой, озираясь по сторонам и глупо улыбаясь. На него никто не обращает внимания, кроме КОТРБЫ, который тоже крутит головой и глупо улыбается. Пауза. Где-то вдалеке гудит поезд, и все одновременно смотрят на часы.)

ТИЦ *(КУБИКУ)*. Почему бы вам не попробовать писать, к примеру, мемуары?

КУБИК. Мемуары? Зачем?

ТИЦ. Это бы вас развлекло. *(Пауза. ПЕХАР опять начинает строить гримасы перед зеркальцем.)* Или пишите дневник. Всякие там заметки, размышления, впечатления...

КУБИК. Я вас умоляю!

ТИЦ. Будь у меня побольше свободного времени, я бы точно занялся мемуарами. С каждым годом прошлое все отчетливее встает у меня перед глазами... *(Пауза.)* Хотите правду, доктор?

КУБИК. Хочу.

ТИЦ. У меня такое чувство, что вы просто на все махнули рукой.

КУБИК. На что именно?

ТИЦ. На все: на свое здоровье... на образ жизни... на творчество... на то, как вы выглядите... и даже на свое положение в обществе! Почему, скажите на милость, вы не поехали в воскресенье на престольный праздник?

КУБИК. В моей-то ситуации?

ТИЦ. Именно в вашей ситуации и следовало поехать. Вы упустили редкую возможность.

КУБИК. Какую возможность?

ТИЦ. Вырваться ненадолго из вашего одиночества... завязать контакты с людьми... выяснить всякие недоразумения. Поверьте, в таких случаях нет ничего лучше, чем прямой откровенный разговор.

КУБИК. Я знаю.

ТИЦ. Вот видите! Надеюсь, вы по крайней мере придете завтра на день рождения директора.

(Из правой кулисы выходит КУНЦ. Никто не обращает на него внимания, кроме КОТРБЫ, который, радостно улыбаясь, машет ему рукой. КУНЦ улыбается в ответ, подходит к КОТРБЕ, наклоняется к нему и долго ему что-то шепчет. КОТРБУ его рассказ веселит, он то и дело прыскает со смеху. Когда КУНЦ наконец перестает шептать, оба еще какое-то время смеются, потом приятельски хлопают друг друга по плечу, и КУНЦ поспешно выходит в правую кулису. Пауза. Затем РАХИЛЬ перестает вязать и смотрит на ОРЛОВА.)

РАХИЛЬ. Сергей Ильич...

ОРЛОВ. Что?

РАХИЛЬ. Надо бы вам как-нибудь побывать в Намешти.

ОРЛОВ. Я бы с удовольствием...

РАХИЛЬ. Это прелестный уголок. Мой отец служил учителем в местной гимназии. Такой, знаете ли, типичный провинциальный интеллигент, книголюб и литератор. Я была единственным ребенком в семье, притом поздним, поэтому, как вы догадываетесь, все в доме вертелось вокруг меня. Бегать по площади вместе с другими детьми мне не разрешали. Может быть, именно тогдашнему невольному затворничеству я обязана своей робостью, за которую мне пришлось дорого поплатиться.

ОРЛОВ. Чем поплатиться?

РАХИЛЬ. Я так и не научилась преодолевать смущение и высказывать вслух самое заветное... Потому-то, должно быть, я всегда каким-то прямо-таки роковым образом теряла тех, с кем хотела бы соединить свой жизненный путь.

(РАХИЛЬ ненадолго погружается в воспоминания, а потом со вздохом опять принимается вязать. Пауза.)

ДЛАСК *(ОРЛОВУ)*. Надо бы нам с вами почаще встречаться, что скажете?

ОРЛОВ. Гм.

ДЛАСК. Знаете, человек с человеком не сразу сходитя. С наскоку это не делается, тут, как говорится, нужна эволюция. Верно?

ОРЛОВ. Безусловно.

ДЛАСК. А мы с вами друг другу очень даже подходим, как вам кажется?

ОРЛОВ. Возможно...

ДЛАСК. Вы любите одиночество...

ОРЛОВ. Ну, в общем-то...

ДЛАСК. Да и у меня, сказать по-честному, настоящих друзей раз-два и обчелся. Знакомые — это да, их у меня хватает, я же вам уже говорил, что люблю заводить новые знакомства... А в остальном, сказать по-честному... ведь мы с вами примерно одного возраста, так?

ОРЛОВ. Примерно одного.

ДЛАСК. Вот видите!

(Пауза. Затем РАХИЛЬ, перестав вязать, пристально смотрит на ДЛАСКА. ДЛАСК замечает это и в свою очередь смотрит на нее. РАХИЛЬ откладывает в сторону вязание, а ДЛАСК машинально отдает ОРЛОВУ свой бокал. После этого РАХИЛЬ и ДЛАСК, не сводя друг с друга глаз, медленно встают и идут в гостиницу. Пауза.)

ТИЦ *(КУБИКУ)*. Нет, дорогой мой доктор, жизнь коротка, и чего ты у нее зубами не вырвешь, того у тебя и не будет. *(Берет со стола мяч.)* Сыграем?

КУБИК. Извините, я не играю.

ТИЦ. Правда?

КУБИК. Увы...

ТИЦ. Какая жалость!

(ТИЦ кладет мяч обратно на стол. Пауза.)

ОРЛОВ. Вы слышите?

ПЕХАР. Что?

ОРЛОВ. Лето...

ПЕХАР *(прислушивается)*. Пчелы?

ОРЛОВ. Пчелы, птицы, леса, реки, люди — точь-в-точь как там...

ПЕХАР. Где?

ОРЛОВ *(тихо)*. В Воронеже...

(ОРЛОВ какое-то время задумчиво смотрит перед собой, по его щеке стекает слеза. ПЕХАР перед зеркальцем кривляется, как обезьяна.)

Третье действие

(На террасе за столиком слева сидят ОРЛОВ и ТИЦ, на столике лежит мяч ТИЦА; за столиком справа сидит КОТРБА. За столиком в саду сидит РАХИЛЬ, занятая вязанием; на скамейке справа сидят КУБИК и ДЛАСК, оба держат в руках бокалы с вином, а на земле у их ног стоит бутылка. Посреди сцены на одеяле, как в предыдущих действиях, сидит ПЕХАР; он бреется электрической бритвой, от которой к гостинице тянется длинный шнур, и вполголоса напевает свою песенку.)

ПЕХАР *(поет)*. Рад бы пристать
я к вашим берегам
близ вас мечтать
порой рассветной там!
Где крылья взять...

(Пение ПЕХАРА переходит в невнятное мычание, сопровождающее дальнейший диалог.)

ДЛАСК *(КУБИКУ)*. У вас, наверное, была нелегкая жизнь, а?

КУБИК. Это как посмотреть.

ДЛАСК. Признайтесь, что нелегкая. У меня тоже! Но при этом, какая бы она ни была паршивая, мы оба прожили ее очень даже достойно. Разве не так?

КУБИК. Что до меня, то я изо всех сил старался...

(ПЕХАР перестает мычать.)

ДЛАСК. Вот именно, мы старались изо всех сил! Это вы верно сказали. Старались, насколько нам позволяло положение. Человек всегда может оступиться, это ему свойственно, но в конце концов надо глядеть на вещи шире... И в этом смысле мы испытание выдержали: нам нечего стыдиться, и мы можем смело взглянуть друг другу в глаза. Согласны?

КУБИК. В общем-то да.

ДЛАСК. Ну, а раз мы в этой жизни добрались, можно сказать, уже почти до цели, то неужто мы напоследок промахнемся! Особенно, если мы будем держаться вместе. Согласны?

КУБИК. Гм...

(РАХИЛЬ перестает вязать и смотрит на ОРЛОВА.)

РАХИЛЬ. Если вдруг будете в Намешти и попадете в тамошний замок, вспомните обо мне...

ОРЛОВ. Вы в Намешти жили в замке?

РАХИЛЬ. Большую часть детства я провела именно там, только на лето мы уезжали в Зицберг, на границе с Италией. Он принадлежал австрийской ветви рода Хауквиц, но сам дядя там никогда не бывал... Сейчас Зицбергом владеет, кажется, какой-то актер из левых...

ОРЛОВ. Я не знал, что в ваших жилах течет голубая кровь.

РАХИЛЬ. А почему, вы думали, я так и не вышла замуж?

ОРЛОВ. Может, еще выйдете...

РАХИЛЬ. Есть только один дворянин, Сергей Ильич, с которым я хотела бы связать судьбу...

(РАХИЛЬ ненадолго погружается в воспоминания, а потом со вздохом опять принимается вязать. ПЕХАР, который все еще бреется, обращается к КУБИКУ.)

ПЕХАР. После этого престольного праздника, доктор, вы окончательно поставили сами на себе крест...

ПЕХАРОВА *(за сценой)*. Вилем!

ПЕХАР. Вас осудили даже те, кто до последней минуты был на вашей стороне.

ПЕХАРОВА *(за сценой)*. Вилем!

ПЕХАР. Полагаю, вы поняли, что свою зловещую роль вы уже сыграли, и теперь лишь отчаянно мечетесь из стороны в сторону, при этом воображая себя героем или мучеником. К счастью, недолго вам осталось хорохориться...

ПЕХАРОВА *(за сценой)*. Вилем!

ПЕХАР. Уж они вас прижмут к ногтю!

(Из правой кулисы выходит ПЕХАРОВА с термометром в руках.)

ПЕХАРОВА *(ПЕХАРУ)*. Вот ты где! Почему не откликаешься, когда я тебя зову?

ПЕХАР. В чем дело?

ПЕХАРОВА. Мне надо измерить тебе температуру.

ПЕХАР. Не надо.

ПЕХАРОВА. Ты совсем перестал следить за своим здоровьем! Должен же быть разум хоть у одного из нас...

(ПЕХАРОВА опускается на колени и засовывает ПЕХАРУ под мышку термометр. Тихо.) Вилем...

ПЕХАР. Что?

ПЕХАРОВА. Ей кажется, что она тебе безразлична...

ПЕХАР. Ты так думаешь?

ПЕХАРОВА. Я это знаю!

ПЕХАР. И что же мне делать?

ПЕХАРОВА. Мог бы, например, побольше ревновать к этому ее ухажеру! Она волнуется, что их отношения тебя как будто не волнуют... *(ПЕХАРОВА вынимает из-под мышки у ПЕХАРА термометр и разглядывает его.)* Ну вот, тридцать шесть и шесть! *(Встряхивает термометр.)* Я принесу тебе аспирин.

ПЕХАР. Не надо!

ПЕХАРОВА. Вот увидишь, это поставит тебя на ноги...

(ПЕХАРОВА с термометром спешит в гостиницу.)

ТИЦ *(ОРЛОВУ)*. После обеда я собираюсь сходить к верхнему шлюзу, посмотреть, не растут ли маслята. Не присоединитесь?

ОРЛОВ. Пожалуй, нет.

ТИЦ. У вас есть какие-то свои планы?

ОРЛОВ. Я хотел немного почитать...

ТИЦ. Старые письма?

ОРЛОВ. Мгм...

ТИЦ. Я так и думал! Неужели для вас больше не существует ничего, кроме прошлого? Вы тоскуете, предаетесь воспоминаниям и только зря теряете время, хотя перед вами открывается так много возможностей с толком его заполнить! Ведь стоит лишь составить с утра план на день и потом просто его придерживаться... Я вас не понимаю: раз уж вы не можете заставить себя заняться настоящим делом, так хоть развлекитесь иногда! К примеру, способны вы пропустить иной раз рюмку вина? Или насладиться сигарой? Или песню спеть? Вас может еще хоть что-то заинтересовать? Живой вы человек или уже нет?

ОРЛОВ. Вчера на дне рождения я, кажется, пел...

ТИЦ. Ну да, но потом опять-таки расплакались!

(Из гостиницы выходит МИЛЕНА; она несет поднос, на котором стоят стаканы с соком. В первую очередь она подходит к КОТРБЕ.)

МИЛЕНА. Прошу вас...

(КОТРБА берет стакан и благодарно кивает. Потом МИЛЕНА предлагает сок ТИЦУ и ОРЛОВУ. ТИЦ берет с подноса два стакана, один из которых дает ОРЛОВУ.)

ТИЦ. Ах, оставьте меня — вот ваш девиз! Да это же девиз мертвеца! Но если вы и впрямь больше не дорожите жизнью, то я не понимаю, что вас тут еще удерживает...

(МИЛЕНА спускается в сад и подходит к РАХИЛИ, которая берет стакан.)

РАХИЛЬ. Спасибо, Милена...

(МИЛЕНА вопросительно оборачивается к ДЛАСКУ; тот, однако, отрицательно качает головой. Тогда МИЛЕНА молча предлагает сок ПЕХАРУ. Он берет стакан.)

ПЕХАР. Спасибо. *(МИЛЕНА собирается уйти.)* Милена...

МИЛЕНА *(останавливается)*. Что?

ПЕХАР. Ты очень на меня сердилась?

МИЛЕНА. Я уже устала от этих вечных сцен.

ПЕХАР. Ты же меня знаешь... Я всегда так: взрываюсь из-за какой-нибудь ерунды, а потом неделю переживаю. *(Пауза.)* Я ведь понимаю, ты не можешь совсем не обращать на него внимания, тем более что он явно тебя любит. *(Пауза.)* В конце концов он несчастный человек, и на предложения, которые он тебе все время делает... ну, насчет собственного пансионата... надо отвечать уклончиво, щадя его чувства. *(Пауза.)* Черт возьми, мне это понятно, как никому другому, ведь я лучше всех знаю, что от любви к тебе можно сойти с ума. *(Пауза.)* А кстати, если он это всерьез — я про повышение квалификации и все такое, — то, может, стоит и воспользоваться... Его порадуешь, своей карьере поможешь, а на наших отношениях это никак не отразится. Как говорится, дают — бери, бьют — беги...

ДЛАСК *(КУБИКУ)*. У вас на воскресенье какие планы?

КУБИК. А что?

ДЛАСК. Да мы тут на престольный праздник собираемся...

КУБИК. На какой еще престольный праздник?

ДЛАСК. У брата моего есть приятель, а у того пивная километрах в полусотне отсюда. И в воскресенье там будет престольный праздник...

МИЛЕНА. Какая же я дура!

ПЕХАР. Почему дура?

МИЛЕНА. Потому что верила этим твоим сценам ревности! Но теперь мне ясно, что ты просто притворялся...

ПЕХАР. Неправда!

МИЛЕНА. Все вы одинаковые!

(МИЛЕНА с подносом убегает в гостиницу. ПЕХАР немного растерян, он непонимающе крутит головой, озираясь по сторонам и глупо улыбаясь. На него никто не обращает внимания, кроме КОТРБЫ, который тоже крутит головой и глупо улыбается. Из гостиницы выходит ЛИЗА с охапкой цветов. ОРЛОВ при виде ее тут же вскакивает и подходит к ней.)

ОРЛОВ (*ЛИЗЕ*). Помните те нежные, трепетные и невинные слова, которые я шептал вам на ушко перед салоном мод на Елисейских полях, где вы работали, роскошь которого так резко контрастировала с пролетарской простотой дома, где вы жили с матерью и братьями? Неужели вы никогда не слышали этих слов? Разве мы с вами не были молоды?

ЛИЗА. Я не знаю, граф, чем вы занимались в молодости. Меня при этом не было. Позвольте мне пройти. (*ЛИЗА огибает ОРЛОВА, спускается в сад и направляется к левой кулисе. ОРЛОВ преграждает ей путь*).

ОРЛОВ. Если вас при этом не было, значит, вообще ничего не было. Вы хоть понимаете, чего пытаетесь меня лишить? А ведь одно ваше слово — и я бы знал, что я жил... живу... что я — это я... Лиза, мое «я» в ваших руках! Спасите его!

ЛИЗА. Простите, граф, но не могу же я спасти ваше «я» ценой того, что откажусь от своего! И прошу вас не говорить со мной больше об этом.

(*ЛИЗА огибает ОРЛОВА и выходит в левую кулису. ОРЛОВ в отчаянии бежит за ней*.)

ОРЛОВ (*за сценой*). Лиза! Лиза!

(*Короткая пауза*.)

КУБИК (*ДЛАСКУ*). Извините, а тот приятель вашего брата...

ДЛАСК. Что?

КУБИК. Он пригласил вас на этот престольный праздник?

ДЛАСК. Да Боже ж мой! Это ж приятель моего брата!

(*Из правой кулисы поспешно выходит ЛИЗА с цветами, преследуемая ОРЛОВЫМ, и направляется к гостинице*.)

ОРЛОВ. Лиза!

(*Оба скрываются в гостинице. Короткая пауза*.)

КУБИК (*ДЛАСКУ*). Ну, а я-то...

ДЛАСК. Что — вы-то? Вы просто приедете со мной.

КУБИК. Да неловко как-то...

ДЛАСК. Что тут неловкого-то? Вы представляете себе престольный праздник в деревне? Знаете, сколько там будет народу? Неужто мы с вами упустим такой случай? Да вы с ума сошли!

(*Из левой кулисы поспешно выходит ЛИЗА с цветами, преследуемая ОРЛОВЫМ, и направляется к правой кулисе*.)

ОРЛОВ. Лиза!

(*Оба уходят в правую кулису. Короткая пауза*.)

КУБИК (*ДЛАСКУ*). Я бы с радостью поехал, но знаете...

ДЛАСК. Да и брат там, наверное, будет.

КУБИК. Понимаю.

ДЛАСК. Вы что, не хотите познакомиться с моим братом? Вы это серьезно? А я уже узнал, как туда добираться...

(*Из левой кулисы поспешно выходит ЛИЗА с цветами, преследуемая ОРЛОВЫМ, и направляется к гостинице*.)

ОРЛОВ. Лиза!

(*Оба скрываются в гостинице. Короткая пауза*.)

КУБИК (*ДЛАСКУ*). Вы не обижайтесь, но, принимая во внимание мое положение...

ДЛАСК. Что до вашего положения, то по этому поводу я уже, кажется, высказался.

КУБИК. Но ведь дело не только в вас! Вы, я знаю, не боитесь. Однако есть еще ваш брат... этот его приятель из пивной... другие люди... Не можем же мы поставить их всех перед свершившимся фактом! Вы меня понимаете?

(*Из правой кулисы выходит ОРЛОВ. Он медленно идет по сцене, поднимается на террасу и тяжело опускается на свое место рядом с ТИЦЕМ*.)

ДЛАСК (*тихо*). Вам не следовало так говорить.

КУБИК. Почему?

ДЛАСК. Вы обидели моего брата!

(*ПЕХАР опять начинает браться. Короткая пауза. Где-то вдалеке гудит поезд, и все одновременно смотрят на часы. После этого из гостиницы выходит ДРАШАР, а за ним КРАУС. Оба останавливаются на террасе. Все присутствующие встают*.)

ПЕХАР. Здравствуйте, господин директор!

ТИЦ. Привет, Пеппик!

(*ДРАШАР, не обращая внимания на фамильярность ТИЦА, делает всем присутствующим знак сесть. Когда все садятся, ДРАШАР начинает шарить по карманам и наконец извлекает замусоленный листок бумаги. Заглянув в него, он обращается к публике*.)

ДРАШАР. Мы рады, что вы в саду... (*Заглядывает в бумажку*.) Правила проживания в гостинице обязательны для всех... (*Заглядывает в бумажку*.) За завтраком вы получите больше чая, чем сегодня... (*Заглядывает в бумажку*.) Как постелешь, так и поспишь... (*Заглядывает в бумажку*.) Мы тут ничьих прав не ущемляем... (*Заглядывает в бумажку*.) В туалете уже вкрутили лампочку... (*Заглядывает в бумажку*.) Все зависит только от нас... (*ДРАШАР хочет продолжать, но, тщательно изучив бумажку с обеих сторон,*

обнаруживает, что больше на ней ничего не написано, и засовывает ее обратно в карман. Раздаются жидкие аплодисменты. Затем ДРАШАР показывает рукой, что собирается импровизировать. Все затихают. ДРАШАР некоторое время раздумывает.) Как было раньше, будет и дальше... (Одобрительные возгласы. Пауза. ДРАШАР думает.) Все свое время... (Одобрительные возгласы. Пауза. ДРАШАР думает.) Жизнь не стоит на месте... (Одобрительные возгласы. Пауза. ДРАШАР думает, но больше ему в голову ничего не приходит, поэтому он обходит присутствующих, пожимая им руки.)

ТИЦ. Отлично сказано, Пепик!

(ДРАШАР пропускает замечание ТИЦА мимо ушей; мало того, он демонстративно не подает ему руки и вообще не смотрит на него. Зато, ко всеобщему изумлению, он задерживается возле КУБИКА.)

ДРАШАР. Ты писатель?

КУБИК. Да, господин директор.

(ДРАШАР несколько раз кивает, а потом говорит.)

ДРАШАР. Литература — дело важное.

(ДРАШАР после некоторого раздумия внезапно дает КУБИКУ дружеский шлепок, а потом, обернувшись к РАХИЛИ, кивком приглашает ее следовать за ним. Затем, помахав рукой всем остальным, он в сопровождении РАХИЛИ идет в гостиницу. Все с облегчением вздыхают. КРАУС заглядывает в гостиницу, дабы удостовериться, что ДРАШАР уже скрылся из виду, и с улыбкой обращается к КУБИКУ.)

КРАУС. Вот идиот, а?

КУБИК. Он еще ничего.

КРАУС. Да брось ты! Как подумаю, что в мою бытность директором я, наверное, выглядел так же, мне просто плохо делается. Поглядишь на него, точно на самого себя в зеркало, — и жуть берет. Нет, Йозеф, больше я в это не ввязываюсь...

ТИЦ (КРАУСУ). Пепик...

КРАУС (холодно глядя на ТИЦА). Что вам угодно?

ТИЦ. Я только... не знаешь ли ты...

(КРАУС отмахивается от него и обращается к остальным присутствующим.)

КРАУС. Это вы удачно придумали — отпраздновать завтра его день рождения. Надеюсь, мы сумеем наконец получше узнать друг друга, сблизиться... Виданное ли дело: так долго жить под одной крышей, есть одну и ту же пищу, гулять по одним и тем же тропинкам — и при всем при этом оставаться почти чужими людьми! Не пора ли устранить барьеры, которые нас разделяют? Сбросить маски условности? Немножко приоткрыть друг другу душу?

(КРАУС какое-то время задумчиво смотрит перед собой, потом несмело улыбается КУБИКУ и уходит в гостиницу. Короткая пауза. Затем ОРЛОВ обращается к ПЕХАРУ, который опять начал бриться.)

ОРЛОВ. Можно вас кое о чем спросить?

ПЕХАР. Давайте.

ОРЛОВ. Вы не боитесь иногда?

ПЕХАР. Я? Чего?

ОРЛОВ. Ну так, вообще...

ПЕХАР. Например, смерти?

ОРЛОВ. Скорее, жизни...

ПЕХАР. Что это вам в голову пришло?

(ПЕХАР перестает бриться, откладывает в сторону бритву, снимает шляпу и начинает причесываться. При этом он вполголоса напевает свою песенку.)

ПЕХАР (поет). Где крылья взять,

чтоб быть как ветер сам?

Где крылья взять,

чтобы домчаться к вам?

(Занавес опускается)

Четвертое действие

(На террасе за столиком слева сидит КОТРА, а за столиком справа — ОРЛОВ и ДЛАСК. Перед ними бутылка вина и два бокала. За столиком в саду, на прежнем месте РАХИЛИ, теперь сидит КУБИК. На скамейке справа сидит РАХИЛЬ; рядом с ней сумка с вязанием; РАХИЛЬ вяжет. Посреди сцены на одеяле, как в предыдущих действиях, сидит ПЕХАР. Он усердно натирается кремом для загара, вполголоса напевая свою песенку.)

ПЕХАР (поет). Рад бы пристать

я к вашим берегам

близ вас мечтать

порой рассветной там!

Где крылья взять...

(Пение ПЕХАРА переходит в невнятное мычание, которое в течение последующего диалога постепенно стихает.)

РАХИЛЬ *(ОРЛОВУ)*. Под Воронежем много лесов?

ОРЛОВ. Извините, но, по чести сказать, понятия не имею.

РАХИЛЬ. Вы же говорили, что это ваш родной город!

ОРЛОВ. Воронеж? Да нет...

(Пауза.)

ДЛАСК. Я вам не мешаю?

ОРЛОВ. Ничего, я люблю завязывать новые знакомства...

ДЛАСК. Значит, мы с вами похожи!

(Из гостиницы выходит ЛИЗА с охапкой цветов. При виде ОРЛОВА она на какое-то время теряется, а потом робко произносит.)

ЛИЗА. Вы ни о чем не хотите меня спросить?

ОРЛОВ. Я? Да нет...

ЛИЗА. Извините... А я думала... извините...

(ЛИЗА поспешно уходит в правую кулису. Сразу после этого оттуда на сцену выкатывается мяч. За ним выходит ТИЦ. Подняв мяч, он оглядывает присутствующих и замечает КУБИКА.)

ТИЦ. Где вы были после обеда?

КУБИК. Малость вздремнул.

ТИЦ. После обеда? Какая глупость!

РАХИЛЬ *(ОРЛОВУ)*. Но вы ведь родились в России...

ОРЛОВ. В России? Почему именно в России?

РАХИЛЬ. Вы же русский!

ОРЛОВ. Это как сказать...

(Пауза.)

ДЛАСК *(ОРЛОВУ)*. У вас, наверное, была нелегкая жизнь, а?

ОРЛОВ. Это как посмотреть.

ДЛАСК. Признайтесь, что нелегкая. У меня тоже!

ОРЛОВ. Но при этом, какая бы она ни была паршивая, мы оба прожили ее очень даже достойно. Разве не так?

ДЛАСК. Что до меня, то я изо всех сил старался...

(Из левой кулисы выходит ЛИЗА с охапкой цветов. При виде ОРЛОВА она на какое-то время теряется, а потом робко произносит.)

ЛИЗА. Вы случайно не о Париже меня спрашивали?

ОРЛОВ. О Париже?

ЛИЗА. Может, вы хотели вспомнить, как мы там давным-давно...

ОРЛОВ. Это какая-то ошибка. Насколько мне известно, я никогда не бывал в Париже.

ЛИЗА. Извините... А я думала... извините...

(ЛИЗА поспешно уходит в гостиницу. Короткая пауза.)

ТИЦ *(КУБИКУ)*. Такой день... ни облачка... свежий ветерок — а вы торчите дома!

(ПЕХАР, смотря в зеркальце, обращается к ТИЦУ.)

ПЕХАР. Если вы думаете, что повели себя правильно, то глубоко заблуждаетесь. С вашей стороны это был самый настоящий моральный террор!

ТИЦ. Ну, знаете...

(ПЕХАР откладывает в сторону зеркальце, берет бритву и начинает бриться.)

КУБИК *(ТИЦУ)*. А вообще как?

ТИЦ. В каком смысле?

КУБИК. Ну, как у вас на душе? Думаю, не очень.

ТИЦ. Да нет, ничего.

(Пауза. Где-то вдалеке гудит поезд, и все одновременно смотрят на часы.)

РАХИЛЬ *(ОРЛОВУ)*. Простите, а...

ОРЛОВ. Что?

РАХИЛЬ. Можно мне спросить, где же вы родились?

ОРЛОВ. Откуда мне знать...

РАХИЛЬ. Неужели вы не интересовались своим происхождением?

ОРЛОВ. Зачем?

РАХИЛЬ. Значит, вы, может быть, даже и не граф!

(Пауза.)

КУБИК *(ТИЦУ)*. Почему, скажите на милость, вы не поехали в воскресенье на престольный праздник?

ТИЦ. В моей-то ситуации?

КУБИК. Именно в вашей ситуации и следовало поехать. Вы упустили редкую возможность.

(Пауза.)

ОРЛОВ (*ДЛАСКУ*). Тоскуете? (*ДЛАСК кивает.*) А вот я вспоминать не люблю. Я, знаете ли, гляжу скорее вперед, чем назад. Поэтому я почти ничего и не помню.

ДЛАСК. Вам можно только позавидовать.

(*Пауза.*)

КУБИК (*ТИЦУ*). Хотите правду, Тиц?

ТИЦ. Хочу.

КУБИК. У меня такое чувство, что вы просто на все махнули рукой.

ТИЦ. На что именно?

КУБИК. На все.

(*Пауза.*)

ОРЛОВ (*ДЛАСКУ*). Человек всегда может оступиться, это ему свойственно, но в целом мы испытание выдержали: нам нечего стыдиться...

ДЛАСК. И мы можем смело взглянуть друг другу в глаза.

ОРЛОВ. Ну, а раз мы в этой жизни добрались, можно сказать, уже почти до цели, то неужто мы напоследок промахнемся! Особенно, если мы будем держаться вместе. Согласны?

ДЛАСК. Гм...

(*Пауза.*)

КУБИК (*ТИЦУ*). Надеюсь, вы по крайней мере придете завтра на день рождения директора.

(*Из правой кулисы поспешно выходит ЛИЗА с охапкой цветов и тут же взволнованно обращается к ОРЛОВУ.*)

ЛИЗА. А помните букиниста Врубцецкого? И как мы читали вдвоем «Песни Мальдорора»? И вашу студенческую мансарду на Рю Жакоб?

ОРЛОВ. Не понимаю, о чем вы...

ЛИЗА (*в отчаянии кричит*). Сережа!

(*ДЛАСК в волнении подбегает к ЛИЗЕ.*)

ДЛАСК. Лиза! Это вы! Помните нашу молодость в Париже?

ЛИЗА. Не сердитесь, господин Дласк, но я никогда не была в Париже. Позвольте мне пройти.

(*ЛИЗА огибает ДЛАСКА и выходит в левую кулису. ДЛАСК спешит за ней.*)

ДЛАСК (*за сценой*). Лиза! Лиза!

(*Пауза. Где-то вдалеке гудит поезд, и все одновременно смотрят на часы. После этого из гостиницы выходит МИЛЕНА. Она несет поднос, на котором стоят стаканы с соком. В первую очередь она подходит к КОТРБЕ.*)

МИЛЕНА. Прошу вас... (*КОТРБА берет стакан и благодарно кивает. Потом МИЛЕНА вопросительно оборачивается к ОРЛОВУ; тот, однако, отрицательно качает головой. Тогда МИЛЕНА спускается в сад и подходит к РАХИЛИ, которая берет стакан.*)

РАХИЛЬ. Спасибо, Милена...

(*Потом МИЛЕНА предлагает сок ТИЦУ и КУБИКУ. КУБИК берет с подноса два стакана.*)

КУБИК (*ТИЦУ*). Вот, возьмите...

ТИЦ. Я не хочу пить.

КУБИК. Но вам нужны витамины!

(*ТИЦ берет стакан; МИЛЕНА предлагает сок ПЕХАРУ, но тот продолжает бриться, демонстративно не замечая МИЛЕНУ. Неловкая пауза.*)

МИЛЕНА. Что случилось?

ПЕХАР. Отойдите от меня!

МИЛЕНА. Вы на меня сердитесь?

ПЕХАР. Сказано вам — отойдите!

(*Пауза.*)

МИЛЕНА. Вы же сами говорили мне, чтобы я не подливала масла в огонь и рассталась с ним по возможности без скандала...

(*ПЕХАР откладывает в сторону бритву и смотрит на МИЛЕНУ.*)

ПЕХАР. Но я же не предлагал вам затевать двойную игру! Вы ведете себя как самая настоящая шлюха!

МИЛЕНА. Вилем!

ПЕХАР. Думаете, я не понимаю, чего он хочет? Чтобы я увез вас отсюда... отправил повышать квалификацию... а потом чтобы вы вместе доили наш пансионат и он при этом не порывал с вами! Еще бы такое его не устроило: я стану вас содержать, а его наши отношения ни к чему не будут обязывать... И вы готовы на это пойти!

МИЛЕНА. С чего вы взяли?

ПЕХАР. Иначе бы вы не выслушивали его речи так спокойно!

МИЛЕНА. Да ведь я их в одно ухо впускаю, а в другое — выпускаю...

ПЕХАР. Я с вами искренен и того же требую от вас. Советую вам задуматься над этим, пока не поздно. Или он, или я!

МИЛЕНА (*резко*). Ладно!

(МИЛЕНА решительным шагом уходит со своим подносом в гостиницу. ПЕХАР слегка растерян, он непонимающе крутит головой, озираясь по сторонам и глупо улыбаясь. Никто не обращает на него внимания, кроме КОТРБЫ, который тоже вертит головой и глупо улыбается. Между тем из гостиницы возвращается ДЛАСК и с унылым видом садится на свое место. ОРЛОВ тем временем встает, вытаскивает из кармана колоду карт и, подойдя к столику, за которым сидят КУБИК и ТИЦ, ловко тасует ее, щелкает картами и призывно улыбается ТИЦУ.)

ТИЦ. Извините, я не играю.

ОРЛОВ. Какая жалость!

(ОРЛОВ разочарованно пожимает плечами, засовывает карты в карман и садится на свободный стул рядом с ТИЦЕМ. Из левой кулисы выходит КУНЦ. Никто не обращает на него внимания, кроме КОТРБЫ, который, радостно улыбаясь, машет ему рукой. КУНЦ улыбается в ответ, подходит к КОТРБЕ, наклоняется к нему и долго ему что-то шепчет. КОТРБУ его рассказ веселит, он то и дело прыскает со смеху. Когда КУНЦ наконец перестает шептать, оба еще какое-то время смеются, потом приятельски хлопают друг друга по плечу, и КУНЦ поспешно выходит в левую кулису. КУБИК встает, берет со стола мяч, какое-то время ведет его посреди сцены, после чего кричит в сторону террасы, обращаясь к ДЛАСКУ.)

КУБИК. Сыграем?

ДЛАСК. Извините, я не играю.

(КУБИК поднимается на террасу и подсаживается к ДЛАСКУ, кладя мяч к нему на столик.)

КУБИК. Вы сами себе вредите, упорно ведя такой неподвижный образ жизни!

ОРЛОВ *(ТИЦУ)*. Говорят, вам было нехорошо...

ТИЦ. Когда?

ОРЛОВ. Вчера, когда отмечали день рождения директора.

КУБИК *(ДЛАСКУ)*. Что, к примеру, вы делали до обеда?

ДЛАСК. Почитал немного...

КУБИК. Копии своих старых писем, что ли?

ОРЛОВ *(ТИЦУ)*. Могли бы и заглянуть туда хоть ненадолго.

ТИЦ. Я решил, что так будет лучше.

КУБИК *(ДЛАСКУ)*. Неужели для вас больше не существует ничего, кроме прошлого? Вы тоскуете, предаетесь воспоминаниям и только зря теряете время... Вас может еще хоть что-то заинтересовать?

ОРЛОВ *(ТИЦУ)*. У вас на воскресенье какие планы?

ТИЦ. А что?

ОРЛОВ. Да мы тут на престольный праздник собираемся...

КУБИК *(ТИЦУ)*. Если вы и впрямь больше не дорожите жизнью, то я не понимаю, что вас тут еще удерживает.

ПЕХАРОВА *(за сценой)*. Вилем!

(ПЕХАР, который опять бреется, обращается к ТИЦУ.)

ПЕХАР. После этого престольного праздника вы окончательно поставили сами на себе крест. К счастью, недолго вам осталось хорохориться...

ПЕХАРОВА *(за сценой)*. Вилем!

ДЛАСК. Полагаю, что скоро я вас покину.

РАХИЛЬ *(поднимая глаза от вязания)*. Вам наше общество наскучило?

ДЛАСК. Не могу подолгу задерживаться на одном месте. Такой уж у меня характер.

РАХИЛЬ. Нам вас будет недоставать.

ПЕХАРОВА *(за сценой)*. Вилем!

ПЕХАР *(ТИЦУ)*. Уж они вас прижмут к ногтю!

(Из левой кулисы выходит ПЕХАРОВА с вязаной жилеткой в руках, подходит к ПЕХАРУ, опускается на колени и помогает мужу натянуть жилетку. Тихо.)

ПЕХАРОВА. Вилем...

ПЕХАР. Что?

ПЕХАРОВА. Если она тебе в самом деле так нравится, почему ты за ней не приударить по-настоящему?

ПЕХАР. Да она не согласится.

ПЕХАРОВА. А ты ей что-нибудь посули, например, что увезешь ее отсюда, отправишь повышать квалификацию и что потом вы вдвоем откроете собственный пансионат...

ПЕХАР. А как же этот ее?

ПЕХАРОВА. Он-то тебе чем помешал? Наоборот, ты тем легче сможешь от нее избавиться, когда она тебе надоест.

(ПЕХАРОВА, надев на ПЕХАРА жилетку, заглядывает в его термос и спешит с ним в гостиницу. ПЕХАР снимает жилетку и, аккуратно сложив ее, кладет рядом с собой, после чего опять начинает натираться кремом. Пауза. Затем КУБИК кричит вниз ОРЛОВУ.)

КУБИК. Как погуляли?

ОРЛОВ. Я не гулял. А вы ночью писали?

КУБИК. Я не мог заснуть и немного почитал... Но на солнышке-то вы хоть погрелись?

ОРЛОВ. Вы же знаете, что я не выношу солнца. Так почему же вы не писали, раз не могли уснуть?
КУБИК. Да так... не хотелось... В таком случае не удивительно, что вы выглядите так, как выглядите!
ОРЛОВ. Вы же знаете, что я не выношу солнца. Так почему же вы не писали, раз не могли уснуть?
КУБИК. Я не мог заснуть и немного почитал... Но на солнышке-то вы хоть погрелись?
ОРЛОВ. Я не гулял. А вы ночью писали?

КУБИК. Как погуляли?

(ПЕХАР, не переставая натираться кремом, начинает опять вполголоса напевать свою песенку.)

ПЕХАР *(поет)*. Где крылья взять,
чтоб быть как ветер сам?
Где крылья взять,
чтобы домчатся к вам?

(Где-то вдалеке гудит поезд, и все одновременно смотрят на часы. После этого из гостиницы выходит КРАУС, а за ним ДРАШАР. Оба останавливаются на террасе. Все присутствующие встают.)

ПЕХАР. Здравствуйте, господин директор!

КУБИК. Привет, Пепик!

(КРАУС, не обращая внимания на фамильярность КУБИКА, делает всем присутствующим знак сесть. Когда все садятся, КРАУС начинает шарить по карманам и наконец извлекает замусоленный листок бумаги. Заглянув в него, он обращается к публике.)

КРАУС. Мы рады, что вы в саду... *(Заглядывает в бумажку.)* Мы тут ничьих прав не ущемляем... *(Заглядывает в бумажку.)* В туалете уже вкрутили лампочку... *(Заглядывает в бумажку.)* Все зависит только от нас... *(КРАУС хочет продолжать, но, тщательно изучив бумажку с обеих сторон, обнаруживает, что больше на ней ничего не написано, и засовывает ее обратно в карман. Раздаются жидкие аплодисменты. Затем КРАУС показывает рукой, что собирается импровизировать. Все затихают. КРАУС усиленно размышляет и в конце концов выпаливает.)* Жизнь не стоит на месте... *(Занавес опускается.)*

Пятое действие

(На террасе за столиком слева сидят КУБИК и читает газету; за столиком справа сидит КОТРБА. За столиком в саду сидит РАХИЛЬ, занятая вязанием; на скамейке справа сидит ОРЛОВ. Посреди сцены на одеяле, как в предыдущих действиях, сидит ПЕХАР. Он усердно натирается кремом для загара и при этом мурлычет себе под нос все ту же мелодию. Через некоторое время на сцену из левой кулисы выкатывается мяч. За ним выходит ТИЦ. Подняв мяч, он оглядывает присутствующих и замечает ОРЛОВА.)

ТИЦ. Где вы были после обеда?

ОРЛОВ. Малость вздремнул.

(ТИЦ садится рядом с ОРЛОВЫМ на скамейку и кладет мяч себе на колени. ПЕХАР обращается к КУБИКУ, на которого, впрочем, не смотрит.)

ПЕХАР. Послушайте, доктор...

ТИЦ. Вы, может быть, считаете, что это не наше дело...

ОРЛОВ. Да только это, можно сказать, касается всех нас...

РАХИЛЬ. Ведь у директора как-никак день рождения, верно?

ПЕХАР. Ведь вам все равно, пойти туда или не пойти.

ТИЦ. Зачем же его провоцировать?

ОРЛОВ. Могли бы и сами понять это и не осложнять ситуацию.

(Из гостиницы выходит ДРАШАР и, остановившись на террасе, с улыбкой обращается к ТИЦУ.)

ДРАШАР. Поглядишь на него, точно на самого себя в зеркало, — и жуть берет.

(Из левой кулисы выходит ПЕХАРОВА со стаканом воды и таблетками.)

ПЕХАРОВА *(ПЕХАРУ)*. Я принесла тебе аспирин.

(ПЕХАРОВА дает ПЕХАРУ таблетку. Тот запикает ее водой. ПЕХАРОВА уходит в гостиницу.)

ДРАШАР *(ТИЦУ)*. Нет, Йозеф, больше я в это не ввязываюсь...

КУБИК *(ДРАШАРУ)*. Пепик...

(ДРАШАР отмахивается от него и уходит в гостиницу. Через какое-то время из гостиницы выходит ДЛАСК; в одной руке у него бутылка вина, а в другой — два бокала. Он оглядывает присутствующих и, заметив КУБИКА, подходит к его столику.)

ДЛАСК. Вы позволите?

КУБИК *(удивленно поднимает глаза от газеты)*. Конечно... пожалуйста...

(КУБИК указывает ДЛАСКУ на стул. ДЛАСК садится и разливает по бокалам вино.)

ДЛАСК. Ничего, что я к вам подсел?

ТИЦ. Если мне человек симпатичен и есть возможность с ним поговорить по душам, я прямо так к нему не раздумывая и подхожу.

РАХИЛЬ. Знаете, человек с человеком не сразу сходится.

ОРЛОВ. Человек всегда может оступиться...

ПЕХАР. В конце концов надо глядеть на вещи шире.
ДЛАСК. И в этом смысле мы испытание выдержали...
ТИЦ. ...и можем смело взглянуть друг другу в глаза!
РАХИЛЬ. Ну, а раз мы в этой жизни добрались...
ОРЛОВ. ...так сказать, уже почти до цели...
КУБИК. ...то неужто мы напоследок промахнемся? Согласны?
ПЕХАР. Уж они вас прижмут к ногтю!
(Из правой кулисы выходит ЛИЗА с охапкой цветов. ОРЛОВ при виде ее тут же вскакивает и преграждает ей путь.)
ОРЛОВ *(тихо)*. Я не верю, что вы обо всем забыли!
ЛИЗА. Позвольте мне пройти.
(Обогнув ОРЛОВА, ЛИЗА выходит в левую кулису. ОРЛОВ спешит за ней.)
ОРЛОВ *(за сценой)*. Лиза! Лиза!
(Где-то вдалеке гудит поезд, и все одновременно смотрят на часы. Из гостиницы выходит КРАУС и, остановившись на террасе, с улыбкой обращается к КУБИКУ.)
КРАУС. Поглядишь на него, точно на самого себя в зеркало, — и жуть берет.
(Из левой кулисы выходит ПЕХАРОВА со стаканом воды и таблетками.)
ПЕХАРОВА *(ПЕХАРУ)*. Я принесла тебе аспирин.
(ПЕХАРОВА дает ПЕХАРУ таблетку. Тот запиивает ее водой. ПЕХАРОВА уходит в гостиницу.)
КРАУС *(КУБИКУ)*. Нет, Йозеф, больше я в это не ввязываюсь...
ДЛАСК *(КРАУСУ)*. Пепик...
(КРАУС отмахивается от него и уходит в гостиницу. Через какое-то время из гостиницы выходит ОРЛОВ; в одной руке у него бутылка вина, а в другой — два бокала. Он оглядывает присутствующих и, заметив ТИЦА, подходит к нему.)
ОРЛОВ. Вы позволите?
ТИЦ. Конечно... пожалуйста...
(ОРЛОВ садится рядом с ТИЦЕМ и разливает по бокалам вино. Затем подает ТИЦУ бокал, а бутылку ставит перед собой на землю.)
ОРЛОВ. Ничего, что я к вам подсел?
КУБИК. Если мне человек симпатичен и есть возможность с ним поговорить по душам, я прямо так к нему не раздумывая и подхожу.
ТИЦ. Знаете, человек с человеком не сразу сходитя.
РАХИЛЬ. Человек всегда может оступиться...
ПЕХАР. В конце концов надо глядеть на вещи шире.
ОРЛОВ. Ну, а раз мы в этой жизни добрались...
КУБИК. ...так сказать, уже почти до цели...
ДЛАСК. ...то неужто мы напоследок промахнемся? Согласны?
ПЕХАР. Уж они вас прижмут к ногтю!
(Из гостиницы выходит ЛИЗА с охапкой цветов. ТИЦ при виде ее тут же вскакивает и преграждает ей путь.)
ТИЦ *(тихо)*. Я не верю, что вы обо всем забыли!
ЛИЗА. Позвольте мне пройти.
(Обогнув ТИЦА, ЛИЗА выходит в левую кулису. ТИЦ спешит за ней.)
ТИЦ *(за сценой)*. Лиза! Лиза!
(Где-то вдалеке гудит поезд, и все одновременно смотрят на часы. Из гостиницы выходит ДРАШАР и, остановившись на террасе, с улыбкой обращается к ДЛАСКУ.)
ДРАШАР. Поглядишь на него, точно на самого себя в зеркало, — и жуть берет.
(Из левой кулисы выходит МИЛЕНА со стаканом воды и таблетками.)
МИЛЕНА *(ПЕХАРУ)*. Я принесла тебе аспирин.
(МИЛЕНА дает ПЕХАРУ таблетку. Тот запиивает ее водой. МИЛЕНА уходит в гостиницу.)
ДРАШАР *(ДЛАСКУ)*. Нет, Йозеф, больше я в это не ввязываюсь...
ОРЛОВ *(ДРАШАРУ)*. Пепик...
(ДРАШАР отмахивается от него и уходит в гостиницу. Через какое-то время из гостиницы выходит ТИЦ; в одной руке у него бутылка вина, а в другой — два бокала. Он оглядывает присутствующих и, заметив ОРЛОВА, подходит к нему.)
ТИЦ. Вы позволите?
ОРЛОВ. Конечно... пожалуйста...
(ТИЦ садится рядом с ОРЛОВЫМ и разливает по бокалам вино. Затем подает ОРЛОВУ бокал, а бутылку ставит перед собой на землю.)
ТИЦ. Ничего, что я к вам подсел?
ДЛАСК. Если мне человек симпатичен и есть возможность с ним поговорить по душам, я прямо так к нему не раздумывая и подхожу.
КУБИК. Знаете, человек с человеком не сразу сходитя.

ПЕХАР. Ну, а раз мы в этой жизни добрались...

ТИЦ. ...так сказать, уже почти до цели...

ОРЛОВ. ...то неужто мы напоследок промахнемся? Согласны?

РАХИЛЬ. Уж они вас прижмут к ногтю!

(Из правой кулисы выходит ЛИЗА с охапкой цветов. ПЕХАР при виде ее тут же вскакивает и преграждает ей путь.)

ПЕХАР *(тихо)*. Я не верю, что вы обо всем забыли!

ЛИЗА. Позвольте мне пройти.

(Обогнув ПЕХАРА, ЛИЗА уходит в гостиницу. ПЕХАР спешит за ней.)

ПЕХАР *(за сценой)*. Лиза! Лиза!

(Из гостиницы выходит ПЕХАРОВА. Она несет поднос, на котором стоят стаканы с соком, и по очереди предлагает сок всем присутствующим. Потом ПЕХАРОВА ставит поднос на столик в саду, садится на одеяло ПЕХАРА, снимает платье и начинает натираться кремом для загара. При этом она мурлычет себе под нос мелодию ПЕХАРА. Из левой кулисы выходит ПЕХАР со стаканом воды и таблетками.)

ПЕХАР *(ПЕХАРОВОЙ)*. Я принес тебе аспирин.

(ПЕХАР дает ПЕХАРОВОЙ таблетку. Та запивает ее водой. ПЕХАР уходит в гостиницу. Из левой кулисы выходит ЛИЗА с мячом под мышкой и направляется к правой кулисе. КУБИК при виде ее вскакивает и спешит за ней.)

КУБИК. Лиза!

(Оба выходят в правую кулису.)

РАХИЛЬ *(ПЕХАРОВОЙ)*. Не забывайте, что уже сентябрь: солнце светит, но от земли тянет холодом.

(Из левой кулисы выходит КУБИК; в одной руке у него бутылка вина, а в другой — два бокала.)

КУБИК *(ПЕХАРОВОЙ)*. Я принес тебе аспирин.

(КУБИК садится рядом с ПЕХАРОВОЙ на одеяло и разливает по бокалам вино. Из правой кулисы выходит МИЛЕНА с мячом под мышкой и направляется к левой кулисе. ОРЛОВ при виде ее вскакивает и спешит за ней.)

ОРЛОВ. Милена!

(Оба выходят в левую кулису.)

РАХИЛЬ *(ПЕХАРОВОЙ)*. Не забывайте, что уже сентябрь: солнце светит, но от земли тянет холодом.

(Из левой кулисы выходит ЛИЗА; в одной руке у нее бутылка вина, а в другой — два бокала. Она оглядывает присутствующих и, заметив ТИЦА, подходит к нему.)

ЛИЗА. Вы позволите?

ТИЦ. Конечно... пожалуйста...

(ЛИЗА садится рядом с ТИЦЕМ и разливает по бокалам вино. Затем подает ТИЦУ бокал, а бутылку ставит перед собой на землю. Из правой кулисы выходит ДЛАСК с охапкой цветов и останавливается перед ПЕХАРОВОЙ с КУБИКОМ.)

ДЛАСК. Должен же быть разум хоть у одного из нас!

(ДЛАСК поднимается на террасу и садится за столик слева. Из левой кулисы выходит МИЛЕНА со стаканом воды и таблетками и направляется к ДЛАСКУ.)

МИЛЕНА. Где вы были после обеда?

ДЛАСК. Малость вздремнул.

(МИЛЕНА дает ДЛАСКУ таблетку. Он запивает ее водой. МИЛЕНА садится за его столик. Из правой кулисы на сцену выкатывается мяч. За ним выходит ОРЛОВ. Подняв мяч, он оглядывает присутствующих и замечает ПЕХАРА.)

ОРЛОВ. Почему ты не откликаешься, когда я тебя зову?

ПЕХАР. Не забывай, что уже сентябрь.

(ОРЛОВ подсаживается к ПЕХАРУ и РАХИЛИ, кладя мяч к ним на столик. Из левой кулисы выходит КУНЦ. Никто не обращает на него внимания, кроме КОТРБЫ, который, радостно улыбаясь, машет ему рукой. КУНЦ улыбается в ответ, подходит к КОТРБЕ, наклоняется к нему и долго ему что-то шепчет. КОТРБУ его рассказ веселит, он то и дело прыскает со смеху. Когда КУНЦ наконец перестает шептать, оба еще какое-то время смеются, потом приятельски хлопают друг друга по плечу, и КУНЦ садится рядом с КОТРБОЙ. Пауза. Где-то вдалеке гудит поезд, и все одновременно смотрят на часы. Из гостиницы выходит ДРАШАР и, остановившись на террасе, обращается к присутствующим.)

ДРАШАР. Не пора ли наконец устранить барьеры, которые нас разделяют? Сбросить маски условности? Немножко приоткрыть друг другу душу? Время, как ни странно, бежит вперед, жизнь коротка, ваш отдых здесь подходит к концу, и, сами того не ожидая, многие из вас скоро начнут разъезжаться. Те же, кто еще останется, будут терзаться запоздалыми сожалениями — как мало они успели сказать безвозвратно ушедшим от нас людям и как редко давали им понять, что, вопреки всему, испытывали к ним нечто глубокое и подлинное...

(Из гостиницы выходит КРАУС. Все встают. ДРАШАР прерывает свою речь и отходит в сторону. КРАУС делает всем присутствующим знак сесть. Когда все садятся, КРАУС начинает шарить по карманам и наконец извлекает замусоленный листок бумаги. Заглянув в него, он обращается к публике.)

КРАУС. Правила проживания в гостинице обязательны для всех... *(КРАУС заглядывает в бумажку, переворачивает ее, а потом засовывает обратно в карман. Раздаются жидкие аплодисменты. Пауза. Где-то вдалеке гудит поезд, и все одновременно смотрят на часы. После этого ДЛАСК вытаскивает из кармана колоду карт, ловко тасует ее, щелкает картами и призывно улыбается КРАУСУ.)*

КРАУС. Извините, я не играю.

ДЛАСК. Какая жалость! *(Разочарованно засовывает карты в карман.)*

ЛИЗА *(ТИЦУ)*. Вы ни о чем не хотите меня спросить?

ТИЦ. Я? Да нет...

(Короткая пауза.)

ПЕХАР. Я всегда могу за себя постоять!

ПЕХАРОВА *(КУБИКУ)*. Надо бы нам с вами почаще встречаться, что скажете?

КУБИК. У вас, наверное, была нелегкая жизнь, а?

КРАУС. Как было раньше, будет и дальше...

(Короткая пауза.)

ОРЛОВ. Будь у меня побольше свободного времени, я бы точно занялся мемуарами. С каждым годом прошлое все отчетливее встает у меня перед глазами...

РАХИЛЬ *(КУБИКУ)*. Значит, вы, может быть, даже и не граф!

КУБИК. Я, знаете, церемоний не люблю.

ДРАШАР. Всему свое время...

(Короткая пауза.)

ТИЦ *(МИЛЕНЕ)*. Ты ведешь себя как самая настоящая шлюха!

КУБИК. Ведь писать — это вам, черт побери, не канаву рыть.

КРАУС. Жизнь не стоит на месте...

(Короткая пауза.)

ПЕХАРОВА. Ранние детские годы очень важны для формирования характера...

РАХИЛЬ. Человек всегда может оступиться!

ТИЦ *(обращаясь ко всем)*. Надо бы нам почаще встречаться, что скажете?

ДРАШАР. В туалете уже вкрутили лампочку.

(В течение последующего диалога те, кто сидел, постепенно поднимаются с мест, и все присутствующие начинают прохаживаться по сцене, останавливаясь, образуя на короткое время группки, а потом опять расходясь в разные стороны.)

ТИЦ *(РАХИЛИ)*. Ну что, уедем вместе?

РАХИЛЬ. А как же ваша жена?

ТИЦ. Я, знаете ли, гляжу скорее вперед, чем назад.

ДЛАСК *(ОРЛОВУ)*. С вашей стороны это был самый настоящий моральный террор!

ЛИЗА *(КРАУСУ)*. Неужто мы напоследок промахнемся! Согласны?

КРАУС. Все зависит только от нас.

МИЛЕНА *(ДЛАСКУ)*. Ты писатель?

ДЛАСК. Я малость вздремнул...

ДРАШАР *(ПЕХАРОВОЙ)*. Вот идиот, а?

ПЕХАРОВА. Литература — дело важное.

ОРЛОВ *(ПЕХАРУ)*. Отлично сказано, Пепик!

ПЕХАР. Уж они вас прижмут к ногтю!

МИЛЕНА *(КУБИКУ)*. Вы обидели моего брата...

КУБИК. Значит, мы с вами похожи.

РАХИЛЬ *(ПЕХАРОВОЙ)*. Я всегда могу за себя постоять!

ПЕХАРОВА *(обращаясь ко всем)*. Надо бы нам почаще встречаться, что скажете?

ДЛАСК *(ТИЦУ)*. В туалете уже вкрутили лампочку.

ТИЦ. А вообще как?

ДЛАСК. Полагаю, что скоро я вас покину.

КРАУС *(ДРАШАРУ)*. Вам наше общество наскучило?

ДРАШАР. Зачем нужна была мне эта самостоятельность, ведь все равно я ни разу в жизни не был по-настоящему счастлив...

ОРЛОВ *(ДРАШАРУ)*. Это потому, что вы не пьете компотов.

ЛИЗА *(ПЕХАРУ)*. Разве мы с вами не были молоды?

ПЕХАР. Я малость вздремнул...

МИЛЕНА *(ПЕХАРОВОЙ)*. Вы не боитесь иногда?

ПЕХАРОВА. Я? Чего?

РАХИЛЬ *(ДЛАСКУ)*. Вы что, не хотите познакомиться с моим братом? Вы это серьезно?

ДЛАСК. Прошу вас не говорить со мной больше об этом.

МИЛЕНА *(обращаясь ко всем)*. Все вы одинаковые!

ЛИЗА *(обращаясь ко всем)*. Надо бы нам почаще встречаться, что скажете?

КУБИК. Жизнь не стоит на месте...

(В течение последующего диалога звучит оркестровая запись песенки из кинофильма «Доктор Живаго». Музыка постепенно усиливается, и все действующие лица невольно начинают двигаться в ритме вальса, тем более явно, чем громче звучит музыка.)

ТИЦ (*ДРАШАРУ*). Вы представляете себе престольный праздник в деревне?

ДРАШАР. За завтраком вы получите больше чая, чем сегодня...

ПЕХАРОВА (*ДЛАСКУ*). Правила проживания в гостинице обязательны для всех.

РАХИЛЬ (*ТИЦУ*). Вы же русский...

ТИЦ. Прошу вас не говорить со мной больше об этом.

ОРЛОВ (*ТИЦУ*). Значит, мы с вами похожи.

ДЛАСК (*ОРЛОВУ*). Это потому, что вы не пьете компотов.

ОРЛОВ. С вашей стороны это был самый настоящий моральный террор!

МИЛЕНА. Уж они вас прижмут к ногтю!

ТИЦ. Жизнь не стоит на месте...

ЛИЗА (*КРАУСУ*). Ну что, уедем вместе?

ПЕХАР (*ДРАШАРУ*). Значит, вы, может быть, даже и не граф!

ДРАШАР. Всему свое время...

ПЕХАРОВА (*обращаясь ко всем*). Все вы одинаковые!

ПЕХАР (*обращаясь ко всем*). Надо бы нам почаще встречаться, что скажете?

КРАУС. А вот я вспоминать не люблю. Я, знаете ли, гляжу скорее вперед, чем назад.

ДЛАСК. С каждым годом прошлое все отчетливее встает у меня перед глазами...

ТИЦ. Мы тут ничьих прав не ущемляем.

МИЛЕНА. Разве мы с вами не были молоды?

ОРЛОВ. Ах, оставьте меня — вот ваш девиз!

ДРАШАР. Надо бы нам почаще встречаться, что скажете?

ЛИЗА. Жизнь не стоит на месте.

ТИЦ. Разве мы с вами не были молоды?

ПЕХАР. С каждым годом прошлое все отчетливее встает у меня перед глазами...

КРАУС. Все вы одинаковые!

ОРЛОВ. Мы тут ничьих прав не ущемляем.

ПЕХАРОВА. Литература — дело важное.

МИЛЕНА. Всему свое время.

ЛИЗА. Литература — дело важное.

ТИЦ. Мы тут ничьих прав не ущемляем.

ПЕХАР. Все вы одинаковые!

КРАУС. С каждым годом прошлое все отчетливее встает у меня перед глазами...

ОРЛОВ. Разве мы с вами не были молоды?

ДРАШАР. Жизнь не стоит на месте...

(Музыка звучит все громче и в конце концов совсем заглушает диалог. Передвижение действующих лиц по сцене постепенно переходит в танец. Начинает танцевать одна пара, потом к ней присоединяются другие, и вот уже танцуют все — включая КОТРЕБУ и КУНЦА, причем мужчины, которым не хватило дам, танцуют друг с другом. Танцующие все время меняются партнерами; движения все убыстряются, музыка звучит все громче, и наконец сцену захлестывает безумный водоворот вальса. После этого музыка начинает понемногу стихать, движения замедляются, и танец сменяется ритмическими покачиваниями. Затем пары распадаются, и действующие лица занимают свои прежние места. Музыка смолкает, и все замирают, глядя в зрительный зал. Воцаряется гробовая тишина; персонажи на сцене напоминают привидения, что может быть подчеркнуто светом: он постепенно тускнет. Немая сцена невыносимо затягивается — и только после этого начинает опускаться занавес. Когда же он совсем опустился, где-то вдали гудит поезд.)

ПРОТЕСТ
Пьеса в одном действии

Действующие лица:
СТАНЕК
ВАНЕК

(Сцена изображает кабинет СТАНЕКА. С левой стороны массивный письменный стол, на нем пишущая машинка, телефон, очки и груда книг и бумаг. Позади стола — большое окно, за которым виден сад. С правой стороны два уютных кресла, а между ними — маленький столик. На заднем плане — большой, во всю стену, книжный шкаф с баром; одно из отделений шкафа занимает магнитофон. В правом заднем углу расположена дверь. На стене справа висит большая сюрреалистическая картина. Когда занавес открывается, зрители видят СТАНЕКА и ВАНЕКА. СТАНЕК стоит возле пишущей машинки и растроганно смотрит на ВАНЕКА, который — в носках и с портфелем в руке — стоит у двери и растерянно глядит на СТАНЕКА. Короткая напряженная пауза. Потом СТАНЕК взволнованно подходит к ВАНЕКУ и, обхватив его обеими руками за плечи, дружески встряхивает.)

СТАНЕК. Ванек! Дружище! *(ВАНЕК растерянно улыбается. СТАНЕК, справившись с волнением, разжимает объятия.)* Вы легко меня нашли?

ВАНЕК. Довольно легко.

СТАНЕК. Я забыл вам сказать, что можно было сориентироваться вон по тем цветущим магнолиям. Красивые, правда?

ВАНЕК. Правда.

СТАНЕК. За неполные три года мне удалось добиться того, что они дают в два раза больше цветов, чем при прежнем хозяине. А у вас на даче магнолии растут?

ВАНЕК. Нет.

СТАНЕК. Надо завести. Я достану для вас два отличных саженца и сам их посажу. *(Подходит к бару и открывает его.)* Коньяку?

ВАНЕК. Нет, спасибо.

СТАНЕК. Чисто символически! *(СТАНЕК наливает коньяк в две рюмки, одну из которых протягивает ВАНЕКУ, а другую берет сам и поднимает для тоста.)* Ну, за встречу!

ВАНЕК. Ваше здоровье!

(Оба пьют. ВАНЕК слегка морщится.)

СТАНЕК. А я уже боялся, что вы не придете.

ВАНЕК. Почему?

СТАНЕК. Да понимаете, все так странно запуталось... *(Указывает на кресло.)* Прошу вас, садитесь. *(ВАНЕК садится в кресло и кладет портфель себе на колени.)* А вы за эти годы почти не изменились.

ВАНЕК. Вы тоже.

СТАНЕК. Я? Какое там! Мне вот-вот стукнет пятьдесят, волосы седеют, болезни одолевают... Нет, я уже не тот, что прежде... А прошлые годы вообще не могли пойти на пользу здоровью. Когда мы, кстати, последний раз виделись?

ВАНЕК. Не помню.

СТАНЕК. Случайно не на вашей последней премьере?

ВАНЕК. Очень может быть.

СТАНЕК. Как же давно это было! Мы тогда слегка повздорили...

ВАНЕК. Правда?

СТАНЕК. Вы говорили, что меня переполняют всяческие иллюзии и излишний оптимизм... С тех пор я много раз вынужден был признать вашу правоту! Ну, а тогда я еще не совсем утратил идеалы молодости; вас же считал неисправимым пессимистом.

ВАНЕК. Я не пессимист.

СТАНЕК. Вот видите, как все переменялось. *(Короткая пауза.)* Вы никого не привели?

ВАНЕК. В каком смысле?

СТАНЕК. Ну... нет ли за вами...

ВАНЕК. Хвоста?

СТАНЕК. Не то чтобы меня это волновало, в конце концов я ведь вам сам позвонил...

ВАНЕК. Я никого не заметил.

СТАНЕК. Между прочим, если вам захочется от них избавиться, знаете, где это удобнее всего сделать?

ВАНЕК. Где?

СТАНЕК. В универмаге. Смешайтесь с толпой, подкараульте момент, когда вас никто не видит, зайдите в туалет и выждите там часа два. Они подумают, что вы незаметно проскользнули через другой выход, и исчезнут. Попробуйте как-нибудь!

(СТАНЕК опять подходит к бару, достает оттуда блюдечко с солеными палочками и ставит его перед ВАНЕКОМ.)

ВАНЕК. А у вас тут тихо...

СТАНЕК. Поэтому-то мы сюда и переехали. Там, рядом с вокзалом, просто невозможно было писать! Уже три года как мы поменялись... Ну, а самое дорогое для меня — это сад. Потом я вам его покажу, похвастаюсь!

ВАНЕК. Вы сами садовничаете?

СТАНЕК. Это мое главное хобби. В саду я вожусь чуть не каждый день. К примеру, перед вашим приходом я омолаживал абрикосы: разработал, знаете ли, собственный метод, основанный на сочетании искусственных и природных удобрений и на особом способе безвосковых прививок. Вы не поверите, какие это дает результаты! Потом я отберу для вас несколько черенков... *(СТАНЕК подходит к письменному столу, достает из ящика пачку импортных сигарет, спички и пепельницу и выкладывает все это на столик перед ВАНЕКОМ.)* Закуривайте, Фердинанд.

ВАНЕК. Спасибо.

(ВАНЕК берет сигарету и закуривает. СТАНЕК садится во второе кресло. Оба отпивают по глотку.)

СТАНЕК. Ну, рассказывайте, как поживаете.

ВАНЕК. Спасибо, ничего.

СТАНЕК. Они вас хоть не очень беспокоят?

ВАНЕК. Когда как.

(Короткая пауза.)

СТАНЕК. А как там?

ВАНЕК. Где?

СТАНЕК. Может ли там вообще выжить человек нашего круга?

ВАНЕК. В смысле — в тюрьме? А что ему остается?

СТАНЕК. Помнится, вас донимал геморрой? При тамошней антисанитарии это, наверное, было совсем ужасно?

ВАНЕК. Мне давали свечи.

СТАНЕК. Вам бы операцию сделать... Один мой друг — крупнейший специалист по геморрою. Прямо-таки чудеса творит. Я вас с ним свяжу.

ВАНЕК. Спасибо.

(Короткая пауза.)

СТАНЕК. Знаете, прошлое иногда кажется мне просто чудесным сном. Сколько было потрясающих премьер... вернисажей... лекций... разных встреч... бесконечных споров об искусстве! Сколько энергии... надежд... планов... идей... дел! Дружеские посиделки в кафе... безумные ночные кутежи и утренние сумасбродства... а сколько вокруг нас крутилось легкомысленных девиц! И при этом мы успели многое сделать! Все это кануло безвозвратно... *(СТАНЕК замечает, что ВАНЕК сидит в носках.)* Вы что, разулись?

ВАНЕК. Да.

СТАНЕК. Ну, зачем вы!

ВАНЕК. Ничего...

(Пауза. Оба отпивают по глотку.)

СТАНЕК. Вас били?

ВАНЕК. Нет.

СТАНЕК. А вообще там бьют?

ВАНЕК. Бывает. Но не политических.

СТАНЕК. Я часто о вас вспоминал...

ВАНЕК. Спасибо.

(Короткая пауза.)

СТАНЕК. И кто только мог подумать...

ВАНЕК. Что?

СТАНЕК. Ну, как оно все обернется. Вы ведь тоже такого не ожидали?

ВАНЕК. Гм...

СТАНЕК. Какая мерзость, дружище, какая гадость! Народом правят подонки общества — а сам народ? Неужели это те же люди, которые еще несколько лет назад вели себя так героически? Все готовы сгибаться чуть не пополам, все сплошь трусливы, эгоистичны, продажны! Боже мой, что они с нами сделали? Вообще, мы это или уже не мы?

ВАНЕК. Ну, зачем же видеть все в таком черном свете...

СТАНЕК. Не обижайтесь, Фердинанд, но вы живете в особом мире... общаетесь только с теми, у кого есть силы всему этому противиться... Вы поддерживаете друг друга, питая себя надеждами... А знали бы вы, кто окружает меня! Радуйтесь, что с этими людьми вас больше ничто не связывает. Меня от них просто тошнит.

ВАНЕК. Вы имеете в виду телевидение?

СТАНЕК. И телевидение, и кино, и все остальное.

ВАНЕК. На телевидении вас как будто недавно ставили...

СТАНЕК. Да, но чего мне это стоило! Целый год тянули, несколько раз заставляли переделывать, изменили и начало, и конец. Вы не представляете, к какой ерунде они готовы придрасться. Мало того, что все

выхолащивают, так еще и сплошные интриги... Сколько раз я говорил себе, что плюну на все это, уеду куда-нибудь в глушь и стану разводить абрикосы!

ВАНЕК. Понятно.

СТАНЕК. Да только всякий раз я вновь и вновь задавался вопросом, вправе ли я капитулировать? Вдруг даже то небольшое, что сегодня можно сделать, принесет кому-нибудь пользу, поддержит, укрепит... *(Встает.)* Я дам вам тапочки.

ВАНЕК. Не беспокойтесь, не надо.

СТАНЕК. Правда не надо?

ВАНЕК. Правда.

(СТАНЕК опять садится. Пауза. Оба отпивают по глотку.)

СТАНЕК. А как насчет наркотиков? Вам что-нибудь такое вводили?

ВАНЕК. Нет.

СТАНЕК. Никаких подозрительных уколов?

ВАНЕК. Только витамины.

СТАНЕК. Ну, так значит, что-то подмешивали в еду.

ВАНЕК. Разве что бром, чтобы не думать о сексе.

СТАНЕК. Но пытались же они вас как-то сломить!

ВАНЕК. Ну...

СТАНЕК. Если вам неприятно, можете не говорить.

ВАНЕК. В каком-то смысле это и есть цель предварительного заключения — лишить человека стержня.

СТАНЕК. И заставить его давать показания...

ВАНЕК. Угу.

СТАНЕК. Когда меня вызовут на допрос, что рано или поздно обязательно случится, знаете, что я сделаю?

ВАНЕК. Что?

СТАНЕК. Попросту ничего им не скажу! Вообще не раскрою рта! Так будет лучше всего: по крайней мере я буду уверен, что ни о чем не проговорюсь.

ВАНЕК. Гм.

СТАНЕК. А у вас, должно быть, крепкие нервы, раз вы смогли все это выдержать и продолжать делать то, что делаете.

ВАНЕК. Что вы имеете в виду?

СТАНЕК. Ну, все эти протесты, петиции, письма... борьбу за права человека... все то, чем занимаетесь вы и ваши друзья.

ВАНЕК. Да я не так уж много и делаю.

СТАНЕК. Не скромничайте, Фердинанд, мне все известно. Если бы каждый делал столько, сколько вы, мы жили бы совсем иначе. Это ведь так важно, что нашлась хотя бы горстка людей, которые не боятся громко говорить правду, вступаться за других, называть вещи своими именами! Может, мои слова прозвучат несколько патетически, но мне кажется, что вы со своими друзьями взяли на себя нечеловечески трудную задачу: пронести через то болото, в котором мы все нынче погрязли, остатки совести. Хотя нить, которую вы прядете, очень тонка, возможно, именно на ней держится надежда на нравственное возрождение народа.

ВАНЕК. Вы преувеличиваете.

СТАНЕК. Во всяком случае я так думаю.

ВАНЕК. Эта надежда коренится во всех порядочных людях.

СТАНЕК. Ну, а сколько их еще осталось, сколько?

ВАНЕК. Немало.

СТАНЕК. Даже если и так, вы больше всех на виду.

ВАНЕК. А не облегчает ли это обстоятельство нашу задачу?

СТАНЕК. Я бы не сказал. Чем больше вы на виду, тем тяжелее бремя вашей ответственности по отношению к людям, которые знают о вас, верят вам, полагаются на вас... которые с надеждой обращают к вам взоры, ибо вы защищаете и их достоинство тоже. *(Встает.)* Я все-таки принесу вам тапочки.

ВАНЕК. Право, это лишнее.

СТАНЕК. У меня ноги замерзают, стоит мне на вас посмотреть.

(СТАНЕК выходит из комнаты и вскоре возвращается с тапочками. Наклонившись, он надевает их на ВАНЕКА, который не успевает этому помешать.)

ВАНЕК *(растерянно)*. Спасибо.

СТАНЕК. Да что вы, Фердинанд, не стоит благодарности.

(СТАНЕК подходит к бару, берет оттуда коньяк и собирается наполнить рюмку ВАНЕКА.)

ВАНЕК. Мне уже хватит.

СТАНЕК. Почему?

ВАНЕК. Я себя не очень хорошо чувствую.

СТАНЕК. Вы, наверное, там отвыкли от спиртного?

ВАНЕК. Это своим чередом, но главное... видите ли, вчера так получилось, что...

СТАНЕК. Понятно. Вы вчера кутнули. Кстати, вы знаете новый кабачок «У собаки»?

ВАНЕК. Нет.

СТАНЕК. У них там вино прямо из подвалов, совсем недорого, и народу бывает немного. Кроме того, там чудесный интерьер — дело рук нескольких приличных художников, которым, как ни странно, это позволили. Короче, рекомендую заглянуть. А вы где были?

ВАНЕК. Да так, погуляли немного с моим другом Ландовским...

СТАНЕК. Ну, тогда неудивительно, что вам сегодня плохо! Он замечательный актер, но как начнет пить — так просто ужас! Ничего, еще одна рюмка вам не повредит... *(СТАНЕК наливает коньяк ВАНЕКУ и себе, ставит бутылку обратно в бар и опять садится в кресло. Короткая пауза.)* А в остальном вы что поделяетесь? Пишете что-нибудь?

ВАНЕК. Пытаюсь.

СТАНЕК. Пьесу?

ВАНЕК. Одноактную.

СТАНЕК. Опять автобиографическую?

ВАНЕК. Можно и так сказать.

СТАНЕК. Мы тут с женой недавно прочитали вашу вещь о пивном заводе, «Аудиенцию». Очень смеялись.

ВАНЕК. Я рад.

СТАНЕК. К сожалению, у нас был почти слепой экземпляр...

ВАНЕК. Обидно.

СТАНЕК. Изумительная пьеса! Вот только концовка мне показалась немного нечеткой. Хорошо бы сделать ее поопределеннее. У вас бы получилось. *(Пауза. Оба отпивают по глотку. ВАНЕК морщится.)* А вообще как дела? Что Павел? Вы с ним видите?

ВАНЕК. Да.

СТАНЕК. И он пишет?

ВАНЕК. Как раз сейчас заканчивает пьесу, тоже одноактную. По нашему замыслу, ее надо играть вместе с моей.

СТАНЕК. Вы что, стали соавторами?

ВАНЕК. В каком-то смысле.

СТАНЕК. Честно говоря, Фердинанд, я вас не понимаю. Зачем вам понадобился этот альянс? Ведь Павел... вспомните, как он начинал! Мы с ним ровесники и в своем развитии описали, так сказать, одинаковую дугу, но признаться, то, чем он занимался, даже мне казалось слишком вопиющим. Ну, да это в конце концов ваше дело, вы лучше знаете, что вам нужно.

ВАНЕК. Именно так.

(Пауза. Оба отпивают по глотку. ВАНЕК морщится.)

СТАНЕК. Ваша жена любит гладиолусы?

ВАНЕК. Конечно... наверное...

СТАНЕК. Такого разнообразия, как у меня, вы нигде не найдете! Тридцать два сорта! А в обычных садовых хозяйствах — не больше шести. Как вы думаете, если я пошлю ей несколько луковиц, она обрадуется?

ВАНЕК. Непременно.

СТАНЕК. Сейчас еще не поздно их посадить. *(СТАНЕК поднимается с места, подходит к окну, выглядывает в сад, потом принимается задумчиво мерить шагами комнату и наконец обращается к ВАНЕКУ.)* Фердинанд...

ВАНЕК. Да?

СТАНЕК. Вы не удивились, когда я вам вдруг позвонил?

ВАНЕК. Немного.

СТАНЕК. Я так и думал. Ведь я из тех, которые, несмотря ни на что, пытаются удержаться на плаву, и понимаю, что уже поэтому вы относитесь ко мне с предубеждением.

ВАНЕК. Я? Нет.

СТАНЕК. Ну, может, вы и нет, но многие ваши друзья считают, что всякий, кто сегодня на поверхности, либо со всем смирился, либо сам себя нравственно предал.

ВАНЕК. Я так не считаю.

СТАНЕК. Даже если бы вы так и считали, я бы на вас все равно не сердился, потому что отлично понимаю, откуда может взяться такое отношение. *(Неловкая пауза.)* Фердинанд...

ВАНЕК. Да?

СТАНЕК. Я знаю, как дорого вам приходится платить за то, что вы делаете. Но не думайте: человеку, которого — к счастью или несчастью — все еще терпят власти и который при этом хочет остаться в ладах с собственной совестью, тоже нелегко.

ВАНЕК. Верю.

СТАНЕК. Может быть, в чем-то даже тяжелее вашего.

ВАНЕК. Понимаю.

СТАНЕК. Но я, конечно, позвал вас не затем, чтобы оправдываться... да мне, собственно, и не в чем... а просто потому, что вы мне нравитесь, и я бы не хотел, чтобы вы разделяли предубеждения ваших друзей на мой счет.

ВАНЕК. Насколько мне известно, вас никто не осуждает.

СТАНЕК. Даже Павел?

ВАНЕК. Даже Павел.

(Неловкая пауза.)

СТАНЕК. Фердинанд...

ВАНЕК. Да?

СТАНЕК. Извините... *(СТАНЕК подходит к магнитофону и включает тихую музыку.)* Фердинанд, вам говорит что-нибудь фамилия Явурек?

ВАНЕК. Рок-певец? Я хорошо его знаю.

СТАНЕК. Тогда вам, наверное, известно, что с ним случилось.

ВАНЕК. Ну да. Его посадили за то, что на одном концерте он рассказал анекдот о полицейском и пингвине.

СТАНЕК. Само собой, это был лишь предлог. Их попросту раздражали его песни. Как жестоко! Как подло и глупо!

ВАНЕК. И трусливо.

СТАНЕК. Да — и трусливо. Я старался чем-нибудь помочь ему через знакомых в городском комитете и прокуратуре, но вы же знаете, как оно бывает. Все обещают разобраться, а затем в кусты, потому что не хотят связываться. Каждый боится за свою кормушку. До чего же гнусно!

ВАНЕК. Но все-таки хорошо, что вы попытались что-то предпринять.

СТАНЕК. Я, дорогой мой Фердинанд, действительно не тот, за кого меня держат в ваших кругах. *(Неловкая пауза.)* Так вот, возвращаясь к Явуреку...

ВАНЕК. Да?

СТАНЕК. После того как мне не удалось ничего добиться по своим личным каналам, я подумал: а нельзя ли попробовать другой путь? Ну, вы меня понимаете — какое-нибудь письмо протеста, петиция... Вот об этом я и хотел с вами поговорить. Ведь у вас в таких делах куда больше опыта, чем у меня. Если бы этот протест подписало несколько известных людей — вроде вас, — то его наверняка бы опубликовали за границей, и это могло бы оказать на них политический нажим. Правда, они с такими вещами не очень считаются, но я просто не вижу другой возможности помочь парню... не говоря уже об Анче.

ВАНЕК. Анча? Кто это?

СТАНЕК. Дочь.

ВАНЕК. Ваша?

СТАНЕК. Да.

ВАНЕК. И она...

СТАНЕК. Я думал, вы знаете.

ВАНЕК. Что?

СТАНЕК. Она ждет ребенка от Явурека.

ВАНЕК. Ах, вот оно что!

СТАНЕК. Постойте, надеюсь, вы не думаете, что это дело интересует меня лишь из-за семейных обстоятельств...

ВАНЕК. Вовсе не думаю.

СТАНЕК. Но вы так отреагировали!

ВАНЕК. Я только хотел сказать, что теперь понимаю, откуда вы об этом узнали... вы ведь не похожи на человека, который следит за молодежными рок-группами... Простите, если мои слова прозвучали так, будто я считаю...

СТАНЕК. Да я бы вступился за Явурека, даже если бы ребенка от него ждал кто угодно другой!

ВАНЕК. Я понимаю.

(Неловкая пауза.)

СТАНЕК. Так как вам моя идея насчет письма протеста?

(ВАНЕК принимает шарик в своем портфеле и наконец находит нужную бумагу, которую протягивает СТАНЕКУ.)

ВАНЕК. Вы, наверное, имели в виду что-то в этом роде...

(СТАНЕК берет у ВАНЕКА бумагу, поспешно подходит к письменному столу, отыскивает на нем очки и, надев их, внимательно читает. Дочитав до конца, он снимает очки и начинает в волнении мерить шагами комнату.)

СТАНЕК. Просто потрясающе! Надо же, какое совпадение: я тут ломаю голову, как это сделать, и в конце концов решаю посоветоваться с вами — а у вас уже давно все готово! Ну, не чудо ли это? Хотя нет, я ведь знал, что не ошибусь адресом... *(СТАНЕК опять идет к столу, надевает очки и перечитывает текст.)* Как раз то, что нужно! Коротко... емко... сдержанно... и вместе с тем настойчиво... Сразу видно профессионала! Я бы над этим целый день корпел, и все равно у меня бы так не получилось. *(ВАНЕК краснеет.)* Вот только одна мелочь: вам не кажется, что слово «произвол» в конце не совсем подходит?... Нельзя ли подобрать синоним помягче? Тут оно как-то некстати, весь текст написан очень конкретно, а это слово слишком уж эмоциональное, у вас нет такого впечатления? А в остальном здесь все точно выверено. Разве что еще второй абзац в общем-то лишний, он как будто уводит от содержания первого, хотя, с другой стороны, там есть отличная фраза о влиянии Явурека на молодых неконформистов, она должна непременно остаться... Если, к примеру, вставить ее в конец, вместо этого «произвола», то будет идеально! Но это лишь мое субъективное мнение, которое не обязательно учитывать. В целом же письмо превосходное и наверняка

сыграет свою роль. Позвольте, Фердинанд, еще раз выразить вам мое восхищение: немногие у нас умеют так четко изложить существо вопроса, избегая при этом бесполезных наскоков...

ВАНЕК. Ну, что вы!

(СТАНЕК снимает очки и, подойдя к ВАНЕКУ, кладет перед ним бумагу, после чего опять садится в кресло и отпивает глоток. Короткая пауза.)

СТАНЕК. И вообще, прекрасно сознавать, что рядом с тобой есть кто-то, к кому всегда можно обратиться с таким вот делом и на кого можно рассчитывать!

ВАНЕК. Это же так естественно...

СТАНЕК. Для вас — да, а вот в обществе, в котором вынужден вращаться я, это вовсе не естественно! Там естественно прямо обратное: когда кто-то попадает в беду, остальные от него тут же отворачиваются и от страха за свое положение доказывают всем вокруг, что никогда не имели ничего общего с этим человеком и всегда его осуждали. Да что я вам рассказываю, вам и самому это знакомо, ведь когда вы сидели в тюрьме, ваши давние собраты по театру носили вас по телевизору. Это было чудовищно...

ВАНЕК. Я на них не в обиде.

СТАНЕК. А я в обиде! И открыто сказал им об этом. Знаете, в моей ситуации волей-неволей научишься прощать многое, но вы меня извините, все имеет свои пределы. Я понимаю, что вам неудобно упрекать тех, кто выступает лично против вас, но постарайтесь быть выше этого. Если мы станем терпеть подобное свинство, то фактически возьмем на себя часть ответственности за весь этот маразм и будем косвенно способствовать его распространению. Разве не так?

ВАНЕК. Гм.

(Короткая пауза.)

СТАНЕК. А этот протест вы уже отослали?

ВАНЕК. Мы пока только собираем подписи.

СТАНЕК. И сколько собрали?

ВАНЕК. Около пятидесяти.

СТАНЕК. Пятьдесят? Ого! Неплохо! *(Короткая пауза.)* Что ж, значит, я опоздал.

ВАНЕК. Да нет...

СТАНЕК. Ведь поезд уже ушел.

ВАНЕК. Он только собирается отправиться.

СТАНЕК. Но ясно же, что письмо будет отослано по назначению и попадет на Запад. Кстати, я бы на вашем месте не рассылал это по агентствам: они дадут лишь короткое сообщение, которое никто не заметит. Лучше сразу передать письмо в какую-нибудь крупную европейскую газету, чтобы его напечатали полностью вместе с подписями.

ВАНЕК. Да-да.

(Короткая пауза.)

СТАНЕК. А они уже об этом знают?

ВАНЕК. В смысле — полиция?

СТАНЕК. Ну да.

ВАНЕК. Понятия не имею. Наверное, пока нет.

СТАНЕК. Послушайте, я, конечно, не вправе давать вам советы, но мне кажется, что следовало бы поскорее закончить с подписями и отправить этот протест — иначе они нападут на след и вам помешают. Ведь полсотни подписей — это уже немало. Да и дело не в количестве имен, а в том, какой вес они имеют.

ВАНЕК. Каждая лишняя подпись имеет вес.

СТАНЕК. Разумеется. Но для резонанса за границей важно, чтобы под протестом подписались прежде всего авторитетные люди. Павел, например, подписал?

ВАНЕК. Да.

СТАНЕК. Это хорошо. Его имя — что бы мы о нем ни думали — в мире кое-что значит.

ВАНЕК. Безусловно.

(Короткая пауза.)

СТАНЕК. Фердинанд...

ВАНЕК. Да?

СТАНЕК. Я хотел поговорить с вами еще об одном довольно деликатном деле.

ВАНЕК. О каком?

СТАНЕК. Знаете, я хоть и не миллионер, но с деньгами у меня пока что неплохо.

ВАНЕК. Я за вас рад.

СТАНЕК. Вот я и подумал... среди ваших знакомых много таких, которые потеряли работу... Может, я дам вам кое-какую сумму?

ВАНЕК. Очень благодарно с вашей стороны. Несколько моих друзей и впрямь сейчас бедствует... но знаете, помочь им иногда бывает непросто... те, кто больше всех нуждается, обычно самые гордые.

СТАНЕК. Много дать не могу, но, думаю, бывают ситуации, когда каждая крона кстати.

(СТАНЕК подходит к письменному столу, извлекает из ящика две купюры, потом, поколебавшись, добавляет к ним еще одну и, вернувшись к ВАНЕКУ, протягивает ему деньги.)

ВАНЕК. Большое спасибо от всех нас.

СТАНЕК. Должны же мы помогать друг другу! И не говорите никому, что это от меня: как вы уже могли убедиться, я за славой не гонюсь.

ВАНЕК. Да-да... Еще раз спасибо.

СТАНЕК. Хотите прогуляться по саду?

ВАНЕК. Пан Станек...

СТАНЕК. Да?

ВАНЕК. Мы хотим отправить это завтра... я о протесте по делу Явурека.

СТАНЕК. Вот и отлично. Чем раньше, тем лучше.

ВАНЕК. Так что сегодня еще...

СТАНЕК. Сегодня вам прежде всего надо хорошенько выспаться! Как-никак вчера вы гульнули, а завтра вам предстоит трудный день.

ВАНЕК. Ну да, ну да... Я только хотел сказать...

СТАНЕК. Ступайте-ка вы лучше прямо домой и отключите телефон, не то вам опять позвонит Ландовский — и Бог знает, чем это обернется.

ВАНЕК. Ладно, я только взгляну еще к нескольким людям. Это не отнимет у меня много времени. Но все-таки... если бы вы сочли это возможным... было бы просто замечательно... ведь ваш «Крах» все читали...

СТАНЕК. Оставьте, Фердинанд, с тех пор прошло целых пятнадцать лет.

ВАНЕК. Но вас не забыли.

СТАНЕК. Так что именно было бы замечательно?

ВАНЕК. Мне показалось, что вы тоже не против...

СТАНЕК. Чего?

ВАНЕК. Присоединиться.

СТАНЕК. Вы имеете в виду вот это? *(показывает на письмо.)*

ВАНЕК. Угу.

СТАНЕК. Я?

ВАНЕК. Простите, но я подумал...
(СТАНЕК допивает коньяк, подходит к бару, вытаскивает оттуда бутылку, наливает себе еще одну рюмку и возвращает бутылку в бар. Отпив глоток, он задумчиво подходит к окну, какое-то время смотрит в сад, а потом с улыбкой оборачивается к ВАНЕКУ.)

СТАНЕК. Нет, это надо же!

ВАНЕК. Вы о чем?

СТАНЕК. Разве вы не видите всю абсурдность ситуации? Я приглашаю вас затем, чтобы попросить написать письмо в защиту Явурека... вы показываете мне готовый текст, под которым, заметьте, стоит пятьдесят подписей... я не верю своим глазам, радуюсь, как ребенок... беспокоюсь, как бы сделать так, чтобы вам не помешали... и при этом мне даже в голову не приходит естественная мысль, которая меня должна была сразу же посетить: здесь надо поставить и мою подпись. Ну, не абсурд ли?

ВАНЕК. Гм.

СТАНЕК. Ведь это, Фердинанд, прямо-таки пугающий симптом того, в какой ситуации мы очутились. Посудите сами: хотя я и знаю, что это неправильно, но я тоже постепенно привык к тому, что подобного рода документы подписывают исключительно профессионалы, так сказать, «специалисты по части солидарности», диссиденты... Если всем остальным бывает нужно добиться справедливости, они автоматически обращаются к вам — как к какой-нибудь коммунальной службе по вопросам нравственности. Короче, наше дело помалкивать, в награду за что мы имеем более-менее спокойную жизнь, а ваше дело — выступать от нашего имени, стяжая себе тумачи на земле и славу на небесах. Как же все извратилось, правда?

ВАНЕК. Гм.

СТАНЕК. Вот видите! И они настолько в этом преуспели, что даже вполне интеллигентный и порядочный человек, каковым я, с вашего позволения, себя все еще считаю, мирится с таким положением дел, точно с чем-то естественным и нормальным. Это же просто ужас, во что нас превратили! Вас от этого не тошнит?

ВАНЕК. Ну-у...

СТАНЕК. Думаете, народ после всего этого еще воспрянет?

ВАНЕК. Трудно сказать.

СТАНЕК. Что делать? Что делать? Теоретически все ясно: каждый должен бы начать с самого себя. Но много ли среди нас Ванеков? Не каждый же может быть борцом за права человека.

ВАНЕК. Конечно, нет.
(СТАНЕК берет с письменного стола очки и подходит к ВАНЕКУ.)

СТАНЕК. Давайте.

ВАНЕК. Что?

СТАНЕК. Ну, эти ваши листы с подписями.
(Неловкая пауза.)

ВАНЕК. Пан Станек...

СТАНЕК. Да?

ВАНЕК. Извините, но у меня вдруг возникло дурацкое чувство...

СТАНЕК. Какое?

ВАНЕК. Мне неудобно об этом говорить... но кажется, я вел себя с вами не совсем честно.

СТАНЕК. Почему?

ВАНЕК. В каком-то смысле я вас подловил.

СТАНЕК. Что вы имеете в виду?

ВАНЕК. Сначала я вас выслушал и только потом, когда вы были, так сказать, связаны своими собственными словами, предложил подписать эту бумагу.

СТАНЕК. То есть вы намекаете, что если бы я знал о том, что вы собираете подписи в защиту Явурека, я бы вообще о нем не упомянул?

ВАНЕК. Нет-нет...

СТАНЕК. А что же тогда?

ВАНЕК. Как бы вам объяснить...

СТАНЕК. Или вам не по душе, что мне самому не пришло в голову подписать?

ВАНЕК. Не в этом дело.

СТАНЕК. А в чем?

ВАНЕК. Просто мне кажется, что если бы я пришел к вам только ради подписи, у вас был бы выбор.

СТАНЕК. А почему вы этого не сделали? Вы что, заранее поставили на мне крест?

ВАНЕК. Я думал, что в вашей ситуации...

СТАНЕК. Вот видите, тут-то наконец и выясняется, как вы ко мне на самом деле относитесь! Вы считаете, что раз мне время от времени перепадает что-то на телевидении, я уже не способен на самый элементарный акт солидарности!

ВАНЕК. Вы меня не поняли. Я хотел только сказать...

(СТАНЕК садится в кресло и, сделав глоток коньяку, обращается к ВАНЕКУ.)

СТАНЕК. Знаете что, Фердинанд! Пусть я привык к абсурдной мысли, что нравственностью общества ведают диссиденты, но и вы, сами того не сознавая, тоже к ней привыкли! Поэтому-то вам и в голову не пришло, что некоторые ценности могут быть для меня важнее моего нынешнего положения. Но что если и я хочу наконец стать свободным человеком, возродить свою цельную натуру и сбросить с себя бремя унижений? Вы даже не задумались о том, что этого момента я, может быть, ждал годами! Просто вы раз и навсегда решили, что мой случай безнадежный и не имеет никакого смысла тратить на меня время... а сейчас, видя, что и мне небезразлична судьба ближнего, вы произвольно попросили меня подписать... но тут же пожалели об этом и начали передо мной извиняться. Да отдаете ли вы себе отчет, как это меня оскорбляет? А вдруг я только и жду случая совершить поступок, благодаря которому я вновь сделаюсь мужчиной, обрету душевное спокойствие, творческое воображение, чувство юмора — и избавлюсь от необходимости спасаться от жизненных невзгод среди этих моих абрикосов и магнолий? Вдруг и я хочу начать жить не по лжи и вернуться из мира текстов на заказ и телевизионной псевдокультуры в мир подлинного искусства, которое не обязано никому прислуживать?

ВАНЕК. Простите... я не хотел вас обидеть...

(ВАНЕК открывает портфель, какое-то время шарит в нем и в конце концов находит листы с подписями, которые протягивает СТАНЕКУ. СТАНЕК медленно встает и, подойдя с листами к письменному столу, садится, надевает очки и внимательно изучает листы, кивая при виде знакомых фамилий. Наконец он снимает очки, поднимается из-за стола и начинает задумчиво мерить шагами комнату. Потом он обращается к СТАНЕКУ.)

СТАНЕК. Можно я буду рассуждать вслух?

ВАНЕК. Конечно...

(СТАНЕК делает глоток коньяку и опять принимается мерить шагами комнату, при этом разглагольствуя.)

СТАНЕК. С субъективной точки зрения, кажется, я самое главное уже сказал: впервые за столько лет вверх ногами я — если подпишу — верну себе самоуважение, утраченную свободу и достоинство, а может быть, и доброе отношение моих друзей и близких. Я избавлюсь от неразрешимых дилемм, перед которыми меня вновь и вновь ставит разлад между моим положением в обществе и моей совестью. Смогу без смущения посмотреть в глаза себе самому, моей Анче и этому ее молодому человеку, когда его выпустят. За это я потеряю работу, которая меня, впрочем, не радует, а наоборот, унижает, но которая дает мне куда больше средств к существованию, чем заработок какого-нибудь ночного сторожа. Моего сына не примут в институт, зато он будет уважать меня больше, чем если бы его приняли ценой того, что я не стану вступаться за Явурека, которого он прямо-таки боготворит. Таковы мои субъективные доводы. Ну, а как обстоит дело с объективными? Что будет, если среди подписей горстки известных диссидентов и нескольких молодых поклонников Явурека вдруг вопреки всем ожиданиям и к всеобщему удивлению мелькнет подпись человека, который уже давно никак не проявлял свою гражданскую позицию? Остальные подписавшие и многие из тех, кто сам ничего не подписывает, но в душе поддерживает тех, которые подписывают, конечно же, только обрадуются. Еще бы: разомкнется узкий круг завязанных «подписантов», чьи подписи понемногу теряют вес, ведь эти люди за них практически ничем не расплачиваются, потому что расплачиваться им уже давно нечем, — и появится новая подпись, ценная не только тем, что она еще нигде не мелькала, но и тем, что за нее заплачено дорогой ценой. Это объективный плюс моего возможного согласия. Что касается

властей, то моя подпись их удивит, раздражит и встревожит тем же, чем порадует остальных подписавшихся: она проломит стену, которую режим так долго и старательно возводил вокруг вас. На судьбу Явурека мое участие в этой акции особого влияния, видимо, не окажет, а если и да, то скорее отрицательное — власти решат продемонстрировать, что не поддаются давлению и что даже такие сюрпризы не могут их поколебать. Зато моя подпись заметно скажется на моей собственной судьбе. Кара мне будет более жестокой, чем кое-кто мог бы ожидать, потому что, карая меня, они захотят показать всем тем, которые вздумали бы последовать моему примеру и во имя свободы влиться в ряды диссидентов, почем фунт лиха. Режим не так уж боится диссидентской деятельности, которая не выходит за границы своего рода гетто, в каком-то смысле подобное движение ему даже на руку, но его страшно пугает любой намек на то, что эти границы рухнут. Примерно наказав меня, он постарается в зародыше подавить угрозу возможной эпидемии. Остается вопрос, какую реакцию вызовет моя подпись среди тех, кто так или иначе встал на путь компромисса, то есть у людей, которые в конце концов важнее всего, ибо какая-либо надежда на будущее связана в первую очередь с тем, удастся ли разбудить их от спячки и убедить занять активную гражданскую позицию. Так вот, в этих-то самых важных кругах моя подпись, боюсь, будет иметь крайне неблагоприятный отклик, ведь эти люди тихо ненавидят диссидентов как свою нечистую совесть и живой укор себе и в то же время завидуют их чувству собственного достоинства и свободы, от которого сами они добровольно отказались. Уже по этой причине такие люди хватаются за любой повод очернить диссидентов. И очередной повод даст им моя подпись: пойдут разговоры, что, мол, вы, которым терять больше нечего, которые уже достигли самого дна и за прошедшие годы даже успели свить там уютные гнездышки, тащите за собой несчастного, до сих пор кое-как державшегося на плаву, и делаете это со всей свойственной вам безответственностью, лишь ради собственной прихоти, только для того, чтобы подразнить власти и создать обманчивое впечатление, будто ваши ряды растут. При этом вам все равно, что он лишается средств к существованию, которые там, на дне, вы наверняка не сумеете ему обеспечить. Не обижайтесь, Фердинанд, я хорошо знаю, как рассуждают эти люди, ведь я вращаюсь среди них изо дня в день, и потому мне наперед известно, что они скажут: что я пал жертвой вашего цинизма, что вы недостойным образом злоупотребили моей гуманностью, взывая к которой, вы не остановились даже перед тем, чтобы использовать мое особое отношение к Явуреку, и это в который уже раз ставит под сомнение искренность ваших якобы гуманных побуждений. Излишне напоминать, что подобные настроения режим и полиция будут стараться всеми способами раздуть и поддерживать. Другие, кто похитроумнее, возможно, скажут, что моя подпись среди привычных ваших лишь отвлекает внимание от главного, то есть от дела Явурека, вызывая вопрос, какую цель, собственно, преследует этот протест: помочь Явуреку или же продемонстрировать обществу меня — как свежее испеченного диссидента. Не исключаю, что кое-кто скажет еще, будто вы в сущности приносите в жертву Явуреку, воспользовавшись его несчастьем ради целей весьма далеких от искреннего участия к нему. Тем более что, получив мою подпись, вы лишили меня возможности завуалированного маневра, которая у меня пока остается и которая может оказаться для Явурека куда полезнее. Поймите меня правильно, Фердинанд: не то чтобы эти суждения значили для меня слишком много, я вовсе не собираюсь стать их рабом, но мне кажется, что интересы дела требуют принимать во внимание и их. В конце концов речь ведь идет о политическом решении, а хороший политик обязан учитывать все моменты, которые могут повлиять на исход дела. Ввиду всего этого вопрос заключается в следующем: что мне выбрать? Чувство внутренней свободы, которое я обрету, поставив свою подпись, хотя бы даже ценой объективно отрицательных последствий такого моего решения, или положительный эффект этого письма без моей подписи — ценой моих горьких сожалений о том, что я вновь (может быть, в последний раз) упустил шанс вырваться из плена унижительных компромиссов, которые меня столько лет душат? Иными словами, если я хочу поступить нравственно — а я надеюсь, вы уже не сомневаетесь, что я этого хочу, — чем мне руководствоваться: беспощадной объективной логикой или же субъективным внутренним чувством?

ВАНЕК. Для меня ответ ясен.

СТАНЕК. Для меня тоже.

ВАНЕК. Значит...

СТАНЕК. К сожалению...

ВАНЕК. К сожалению?

СТАНЕК. А вы думали...

ВАНЕК. Простите, я вас, наверное, не так понял.

СТАНЕК. Мне жаль, если...

ВАНЕК. Ничего.

СТАНЕК. Но я на самом деле считаю...

ВАНЕК. Понимаю.

(СТАНЕК берет со стола листы с подписями и с улыбкой возвращает их ВАНЕКУ, который смущенно засовывает их вместе с текстом письма в портфель. СТАНЕК подходит к магнитофону и выключает его, а потом опять садится в кресло. Оба отпивают по глотку. ВАНЕК морщится. Очередная неловкая пауза.)

СТАНЕК. Вы на меня сердитесь?

ВАНЕК. Нет.

СТАНЕК. Но вы не согласны...

ВАНЕК. Я уважаю ваше мнение.

СТАНЕК. А все-таки, что вы обо мне думаете?

ВАНЕК. А что я о вас должен думать?

СТАНЕК. Да уж ясное дело, что...

ВАНЕК. Вы о чем?

СТАНЕК. Что при виде этих подписей я испугался.

ВАНЕК. Я так вовсе не думаю.

СТАНЕК. Это у вас на лице написано.

ВАНЕК. Да нет же!

СТАНЕК. Почему вы не хотите сказать мне правду? Разве вы не понимаете, что эта ваша ложь во спасение оскорбляет меня больше, чем если бы вы выложили мне все начистоту?! Или вам на меня уже и слова-то жалко тратить?!

ВАНЕК. Я же вам сказал, что уважаю ваше мнение.

СТАНЕК. Не держите меня за дурака.

ВАНЕК. Я и не держу.

СТАНЕК. Мне отлично известно, что за этим вашим уважением кроется.

ВАНЕК. И что же?

СТАНЕК. Чувство нравственного превосходства.

ВАНЕК. Неправда.

СТАНЕК. Вот только не знаю, имеете ли вы — именно вы — право так собой гордиться.

ВАНЕК. Вы это о чем?

СТАНЕК. Сами знаете.

ВАНЕК. Не знаю.

СТАНЕК. Сказать?

ВАНЕК. Скажите.

СТАНЕК. Насколько мне известно, в тюрьме вы говорили больше, чем следовало.

(ВАНЕК вскакивает, с изумлением глядя на СТАНЕКА, который торжествующе улыбается. Короткая напряженная пауза. Потом звонит телефон. ВАНЕК подавленно опускается на свое место. СТАНЕК подходит к телефону и снимает трубку.)

СТАНЕК *(в телефонную трубку)*. Привет. Что-что? Не может быть! Да это же... Погоди... Ага... А вы где? Ну конечно... Само собой... Отлично... Я жду. Пока. *(СТАНЕК кладет трубку и тупо глядит перед собой. Долгая пауза. ВАНЕК в растерянности встает. СТАНЕК, вспомнив вдруг, что гость еще не ушел, раздраженно обращается к нему.)* Можете сжечь эту вашу бумагу внизу в котельной.

ВАНЕК. Что?

СТАНЕК. Он только что зашел за Анчей в университетскую столовую.

ВАНЕК. Кто?

СТАНЕК. Да Явурек же!

ВАНЕК. Как, его отпустили? Вот здорово! Значит, вы все-таки хлопотали не зря. И хорошо, что мы не отправили это письмо на пару дней раньше. Они бы ожесточились и не выпустили его.

(СТАНЕК какое-то время испытующе смотрит на ВАНЕКА, а потом вдруг улыбается, подходит к нему и дружески обхватывает обеими руками за плечи.)

СТАНЕК. Пусть это вас не мучает, дружище. Ведь всегда есть риск скорее повредить, чем помочь. Если вы станете обращать на это внимание, вы вообще ничего не добьетесь. Пойдемте, я выберу для вас несколько черенков...

(СТАНЕК берет ВАНЕКА под руку и ведет к дверям. ВАНЕК смешно шаркает ногами по полу, потому что тапочки ему очень велики. Занавес опускается.)

ЗАВТРА ВЫСТУПАЕМ

Историческая вариация в пяти действиях

Действующие лица:

РАШИН
ЖЕНА РАШИНА
ТУСАР
ТЕЛЕФОНИСТКА
ПЕНИЖЕК
ШЕЙНЕР
БЕНЕШ
ЧВАНЧАРА
ГЕЙСТЛИХ
КОПЕЦКИЙ
1-Й АКТЕР
1-Я АКТРИСА
2-Й АКТЕР
2-Я АКТРИСА
3-Й АКТЕР
3-Я АКТРИСА
4-Я АКТРИСА
ТОЛПА

Первое действие

(В полной темноте звонит телефон. Затем сцена постепенно освещается. Посреди ее письменный стол с грудой бумаг, на котором и стоит телефон. Середина сцены пока свободна от актеров, но все они присутствуют: сидят или стоят по бокам сцены либо в зрительном зале. Телефон продолжает звонить; потом актер, который будет играть РАШИНА, подходит к письменному столу, садится и поднимает трубку.)

РАШИН *(в телефонную трубку)*. Рашин слушает.

(Один из актеров извлекает откуда-то телефонную трубку и изображает ТУСАРА.)

ТУСАР *(в телефонную трубку)*. Это Тусар.

РАШИН *(в телефонную трубку)*. Приветствую вас, мой друг. Ну, что нового? Рассказывайте...

1-Й АКТЕР *(к публике)*. Так обстояло дело по свидетельству самого Рашина, но он, кажется, ошибся. Есть основания полагать, что не Тусар звонил Рашину, а Рашин Тусару.

1-Я АКТРИСА *(к публике)*. Дело в том, что телефонные разговоры из Вены прослушивались, а разговоры из Праги нет.

1-Й АКТЕР *(к публике)*. Поэтому, как утверждают источники, Тусар в случайной беседе с Годачем попросил его побыстрее связаться со Швеглой или Рашином с тем, чтобы они ему, Тусару, срочно позвонили. Годач застал дома Рашина, передал ему эту просьбу и, вероятнее всего, произошел следующий разговор.

(РАШИН, положив трубку, сразу же поднимает ее вновь и набирает номер. Одна из актрис берет у ТУСАРА трубку и изображает ТЕЛЕФОНИСТКУ.)

ТЕЛЕФОНИСТКА *(в телефонную трубку)*. Центральная!

РАШИН *(в телефонную трубку)*. Барышня, соедините меня, пожалуйста, срочно с Веной. Это Рашин!

ТЕЛЕФОНИСТКА *(в телефонную трубку)*. С доктором Тусаром, да?

РАШИН *(в телефонную трубку)*. Именно.

ТЕЛЕФОНИСТКА *(в телефонную трубку)*. Наверное, он еще у себя в кабинете. Ему только что звонил доктор Годач.

РАШИН *(в телефонную трубку)*. Я знаю.

ТЕЛЕФОНИСТКА *(в телефонную трубку)*. Попробую соединить как можно быстрее. Грянет-то скоро?

РАШИН *(в телефонную трубку)*. Дайте срок.

(РАШИН с телефонной трубкой в руках ждет. Актриса, которая будет играть ЖЕНУ РАШИНА, подходит к креслу, садится, снимает отводную трубку телефона и тоже ждет.)

1-Я АКТРИСА *(к публике)*. Карла Рашинова, вспоминая об этом разговоре, пишет, что слушала его, как и другие важные разговоры мужа, по отводной трубке.

1-Й АКТЕР *(к публике)*. Как наверняка уже поняли самые проникательные из вас, мы пытаемся воспроизвести то, что происходило в квартире доктора Алоиса Рашина в ночь с 27 на 28 октября 1918 года. Исторически документированная реконструкция при этом будет сочетаться с нашими собственными домыслами, но не бойтесь, мы не внесем сумятицу в ваши познания в области истории. Мы всякий раз будем прямо указывать вам, что случилось на самом деле, а что мы додумали.

(ТЕЛЕФОНИСТКА быстро передает трубку ТУСАРУ.)

ТУСАР *(в телефонную трубку)*. Hier Reichsrat, Tusar am Apparat³.
РАШИН *(в телефонную трубку)*. Говорит Рашин.
ТУСАР *(в телефонную трубку)*. Хорошо, что вы звоните, друг мой. Здесь такое творится!
РАШИН *(в телефонную трубку)*. Рассказывайте.
ТУСАР *(в телефонную трубку)*. Сегодня после обеда у меня был полковник генерального штаба Ронге.
РАШИН *(в телефонную трубку)*. Ронге? Это тот, который выступал на нашем процессе в качестве «militaerwissenschaftlicher Sachverstaendiger»⁴?
1-Й АКТЕР *(к публике)*. Имеется в виду процесс 1916 года над доктором Крамаржем и другими, на котором Рашин был приговорен к смертной казни.
ТУСАР *(в телефонную трубку)*. Именно он.
РАШИН *(в телефонную трубку)*. Он же наш заклятый враг!
ТУСАР *(в телефонную трубку)*. Конечно. Ну вот, и этот Ронге с ведома императора предложил направить чешских депутатов в войска — для агитации среди солдат, чтобы те удержали фронт хотя бы еще несколько дней. Мол, нельзя допустить потери армейского имущества стоимостью не в один миллиард. Солдаты же толпами бегут с фронта, и укрепить на время их дух могут якобы только чешские депутаты! Война, сказал он, проиграна, и заключение мира — вопрос действительно всего нескольких дней...
РАШИН *(в телефонную трубку)*. Потрясающе! Раз уж этот человек обращается за помощью к чешским депутатам, значит, гром может грянуть в любой момент. А что вы ему ответили?
ТУСАР *(в телефонную трубку)*. Как мы и договорились: что мы готовы оказать содействие при отступлении войск — но лишь при условии, что вначале Австрия капитулирует.
РАШИН *(в телефонную трубку)*. Правильно. Полагаю, капитуляцию можно ожидать в ближайшие часы.
ТУСАР *(в телефонную трубку)*. Это весьма вероятно, потому что, не успев еще Ронге от меня уйти, примчался другой офицер генерального штаба и сказал, что дело не терпит ни малейшего отлагательства, что счет идет уже не на дни, а на часы и что армия разлагается прямо на глазах.
РАШИН *(в телефонную трубку)*. Благодарю вас за эти известия. Мы будем действовать в соответствии с ними.
ТУСАР *(в телефонную трубку)*. Ронге поспешил с моим ответом к императору. Не исключено, что он еще вернется.
РАШИН *(в телефонную трубку)*. Можете звонить мне в любое время, все равно я сегодня не буду ложиться.
ТУСАР *(в телефонную трубку)*. Не забудьте, что завтра вас ждет трудный день.
РАШИН *(в телефонную трубку)*. Не бойтесь, мы справимся. До свидания.
ТУСАР *(в телефонную трубку)*. До свидания.
(Актер, играющий ТУСАРА, откладывает трубку в сторону. РАШИН и ЖЕНА РАШИНА одновременно тоже кладут телефонные трубки и, взглянув друг на друга, вскакивают с места и взволнованно кидаются друг другу в объятия.)
РАШИН. Карличка!
ЖЕНА РАШИНА. Ах, Лойза!
1-Й АКТЕР *(к публике)*. Мы не уверены, что дома Карла Рашинова звала своего мужа именно Лойзой; для той эпохи и для людей их круга это скорее маловероятно — тем не менее мы позволили себе эту вольность, чтобы сделать понятнее современному зрителю радость, охватившую обоих супругов.
1-Я АКТРИСА *(к публике)*. Карла Рашинова в своих воспоминаниях пишет: «Волнение мое и моего мужа было столь велико, что о сне мы не могли и думать.»
1-Й АКТЕР *(к публике)*. И действительно: все, что нам удалось выяснить об этой ночи, указывает на то, что супруги Рашины ни на минуту не сомкнули глаз. Причем можно считать точно установленным, что после разговора с Тусаром доктор Рашин произнес знаменательную фразу...
РАШИН *(воскликает)*. Завтра это свершится!
(Все актеры образуют ликующую ТОЛПУ. Они заполняют сцену и перемещаются по ней в разные стороны с песней «Гей, славяне!»)

Второе действие

(Актеры занимают свои прежние места, освобождая сцену. РАШИН и ЖЕНА РАШИНА продолжают обниматься, а потом отстраняются друг от друга.)

1-Я АКТРИСА *(к публике)*. Доктор Алоис Рашин в это время был фактически движущей силой президиума Национального комитета. И после телефонного разговора с Тусаром он пришел к убеждению, что на следующий день, то есть в понедельник 28 октября, Австро-Венгрия капитулирует и что в тот же день Национальный комитет должен взять в свои руки всю полноту власти в независимом чехословацком государстве — то есть провозгласить образование этого государства на самой его территории и обеспечить управление им. Тем самым должно было стать явью то, что немногим ранее было решено де-юре, когда на

³ Имперский совет, Тусар у аппарата (нем.)

⁴ Военный эксперт (нем.)

конференции в Париже договаривающиеся стороны признали Чехословацкий национальный совет легитимным представителем будущего государства.

2-Й АКТЕР (*к публике*). Как конкретно мог тогда представлять себе Рашин создание государства? Что намеревался предпринять 28 октября?

1-Я АКТРИСА (*к публике*). К сожалению, мы не знаем, о чем говорили в ту ночь супруги Рашины. Но давайте попробуем пофантазировать.

ЖЕНА РАШИНА. Алоис...

2-Й АКТЕР (*к публике*). Первая волна радости схлынула, поэтому вернемся к более вероятному обращению...

РАШИН. Да?

ЖЕНА РАШИНА. Что вы собираетесь делать? У тебя есть какой-нибудь план?

РАШИН. Карличка, это революция! Разве революцию можно совершить по плану?

ЖЕНА РАШИНА. Я понимаю, но все же...

РАШИН. Для начала я позвоню Шейнеру, чтобы он к утру вывел на улицы своих «соколов». Когда люди увидят их, впервые за много лет снова надевших форму, они сразу поймут, что происходит. Кроме того, «соколы» помогут обеспечить общественный порядок. Нельзя допустить насилия и всяких мерзостей. Мы должны с первого же дня показать всему миру, что заслуживаем свободы, которую завоевали для нас Масарик и легионеры.

1-Я АКТРИСА (*к публике*). Это пока еще не чистый вымысел. Рашин действительно не однажды говорил подобное в разных случаях и по разным поводам. И его надежды полностью оправдались: «соколы» и впрямь немало способствовали тому, что день 28 октября прошел достойно.

ЖЕНА РАШИНА. Но «соколы» на улицах еще не создадут государства...

РАШИН. Конечно, нет. Я говорю лишь о том, что надо сделать в первую очередь. Попробую-ка я связаться с Шейнером прямо сейчас...

(РАШИН подходит к письменному столу, поднимает трубку и набирает номер. Никто не отвечает, и РАШИН кладет трубку на место.)

ЖЕНА РАШИНА. А что дальше?

РАШИН. Назначу на восемь утра заседание президиума у Швегла. Расскажу о том, что узнал от Тусара, и предложу взять власть в стране в свои руки.

ЖЕНА РАШИНА. А не предпочтет ли Швегла подождать, пока официально не объявят о капитуляции? Ты же знаешь, как он осторожен.

РАШИН. Стршибрный и Соукуп будут «за». Они выставили бы себя на посмешище, если бы заняли сейчас выжидательную позицию: ведь они хотели выступить еще две недели назад. Что касается Швегла, я верю в его чутье. Он наверняка поймет, что ситуация созрела.

2-Й АКТЕР (*к публике*). Однако Рашин мог сказать и нечто иное. Например...

РАШИН. Если возникнут трудности, я буду блефовать. Скажу, что Австрия уже капитулировала и через пару часов это станет широко известно.

1-Я АКТРИСА (*к публике*). Мы не знаем в точности, как проходило утреннее заседание президиума. Четверо народных вождей, которые входили тогда в его состав, позже бывали в некоторых вопросах довольно скупы на слово. Этим, кстати, объясняется то обстоятельство, что спустя многие годы об их действиях столько гадали и спорили. Несомненно лишь одно: сразу же после заседания они повели себя так, как если бы капитуляция Австро-Венгрии, за которой должно было следовать объявление о создании чехословацкого государства, уже совершилась. Пришлось ли Рашину на этом заседании убеждать своих соратников или такова была с самого начала общая воля всех, как утверждает Соукуп, этого мы не знаем и вряд ли когда-нибудь узнаем.

ЖЕНА РАШИНА. А если все будут «за», то с чего вы начнете?

РАШИН. Швегла и Соукуп должны уже в девять занять Военные продовольственные склады, но не просто от имени Национального комитета на основании какой-либо австрийской директивы насчет его участия в решении вопросов снабжения, соглашения с Венной или с армией, а именем нового государства, которому тут же и потребуют присягнуть. Ведь снабжение — это чертовски важная составляющая власти! Даже солдаты с нами ничего не смогут поделать, если им будет нечего есть.

1-Я АКТРИСА (*к публике*). И действительно, как подтверждают очевидцы, 28 октября в девять часов Швегла и Соукуп заняли Военные продовольственные склады именем нового государства.

2-Й АКТЕР (*к публике*). Хотя о его образовании в тот момент еще никто официально не объявил, переход продовольственных складов под его управление был первым — и притом весьма важным — шагом в его становлении.

ЖЕНА РАШИНА. А ты что будешь делать?

РАШИН. Отправлюсь в редакцию «Народных листов», чтобы ждать новостей из Вены, отдавать распоряжения и переговариваться с Шейнером. Кстати о Шейнере. *(РАШИН опять подходит к письменному столу, поднимает трубку и набирает номер. Никто не отвечает, и РАШИН кладет трубку на место.)* Где его, черт побери, носит?!

ЖЕНА РАШИНА. А что потом?

РАШИН. Мне это видится следующим образом: приблизительно в пол-одиннадцатого президиум опять соберется в Земском доме, а оттуда мы поедem к наместнику и к Шенборну. Объявим им, что с этой минуты Национальный комитет берет на себя руководство независимым чехословацким государством, и потребуем, чтобы они либо присягнули нам и впредь полностью подчинились, либо подали в отставку.

1-Я АКТРИСА (*к публике*). Так оно примерно 28 октября и случилось. Но где-то в четверть десятого в редакции «Народных листов» Рашин услышал о ноте Андраши...

2-Й АКТЕР. Если вы не знаете, что это такое, не волнуйтесь: в свое время мы вам все объясним.

1-Я АКТРИСА (*к публике*). Позже Рашин сказал корреспонденту «Народных листов» в Вене Пенижеку...

РАШИН (*актеру, играющему ПЕНИЖЕКА*). А знаете, Пенижек, что именно вы дали мне последний толчок к перевороту?

ПЕНИЖЕК. Как это?

РАШИН. Когда вы утром сообщили в редакцию о ноте Андраши, я как раз был там, и эта новость, которая, впрочем, не была для меня неожиданной, послужила окончательным сигналом к старту.

1-Я АКТРИСА (*к публике*). В каком-то смысле Рашин был прав: подобный «окончательный сигнал» он ждал и готовил все в расчете на то, что он вот-вот прозвучит. Однако Рашин выразился не совсем точно — когда он читал ноту, уже проходил захват продовольственных складов именем нового государства, так что старт был дан, в общем-то, еще до сигнала. Трудно сказать, что случилось бы, если бы ноты Андраши не было. Возможно, чешские лидеры все равно отправились бы к наместнику — или нет. Но, не будь этой ноты, наверняка не произошло бы стихийного народного выступления, на фоне которого они и предпринимали дальнейшие действия.

РАШИН. Я сразу же бросился звонить.

2-Й АКТЕР (*к публике*). Госпожа Рашинова позже напишет...

ЖЕНА РАШИНА. Вскоре после девяти у нас зазвонил телефон. (*Звонит телефон. РАШИНОВА берет трубку.*) Слушаю, Рашинова.

РАШИН (*поднимает трубку своего аппарата*). Австрия капитулировала! Ты первая, кому я об этом сообщаю. Я спешу. Мы отправляемся к наместнику.

ЖЕНА РАШИНА (*в телефонную трубку*). Это самое важное событие нашей истории за последние триста лет! Я так счастлива, что ты в этом участвуешь! (*Оба кладут телефонные трубки.*) Я очень хорошо помню этот разговор, потому что я страшно гордилась и сейчас горжусь тем, что первой узнала эту новость от мужа.

1-Я АКТРИСА (*к публике*). О событиях 28 октября было написано немало книг, изданы многочисленные воспоминания, велись горячие споры. Но мы не ставим своей задачей реконструировать этот день. Давайте опять вернемся к ночи, которая ему предшествовала. У Рашина, конечно, был четкий план действий, ведь обо всем этом он размышлял месяцами, если не годами, и он наверняка ответил на все вопросы жены. Но едва ли ему удалось рассеять ее тревогу за его жизнь.

ЖЕНА РАШИНА. А не опасное ли дело вы затеваете, Алоис? Опасное для тебя, для всех вас, для народа? Не забывай, что в Праге все еще стоит их гарнизон.

РАШИН. Я никогда не скрывал от тебя, Карла, что рискую жизнью. Но когда на весах судьба нации, одна жизнь значит мало. Перед нами — историческая задача, и у нас должно хватить смелости взяться за ее решение, хотя никто не может поручиться, что нам удастся сделать это быстро и без жертв. Что касается армии, то тут я рассчитываю на Шейнера. Кстати о Шейнере.

(*РАШИН опять подходит к письменному столу, поднимает трубку и набирает номер. Актер, который будет играть ШЕЙНЕРА, вытаскивает откуда-то трубку.*)

ШЕЙНЕР (*в телефонную трубку*). Шейнер слушает.

РАШИН (*в телефонную трубку*). Ну наконец-то!

ШЕЙНЕР (*в телефонную трубку*). Прошу прощения. Я только что вернулся из Национального комитета. Есть новости из Вены?

РАШИН (*в телефонную трубку*). Да. Все решено, предложения Вильсона безоговорочно приняты. Мы свободны!

2-Й АКТЕР (*к публике*). Так описывает звонок Рашина Шейнер, но мы сомневаемся, что Рашин уже в воскресенье вечером с такой уверенностью утверждал, что Австрия капитулировала. Давайте отнесем эту неточность на счет «сокольского» энтузиазма Шейнера и будем придерживаться версии, основанной на воспоминаниях Рашина.

РАШИН (*в телефонную трубку*). Я говорил с Тусаром. Похоже на то, что через несколько часов Австрия капитулирует. Пусть «соколы» будут готовы выйти утром на улицы. Все должно идти по намеченному плану.

ШЕЙНЕР (*в телефонную трубку*). Ясно. Сделаю.

РАШИН (*в телефонную трубку*). Я на вас надеюсь и за улицы спокоен. Но что если правительство, немцы или коммунисты выступят против нас — и произойдут столкновения? Вы сможете при необходимости дать вооруженный отпор?

ШЕЙНЕР (*в телефонную трубку*). Оружия у нас пока немного. Но мы готовы без промедления начать захватывать арсеналы.

РАШИН *(в телефонную трубку)*. Может быть, мы посетим завтра также генералов и объясним им, что дальнейшее кровопролитие в этот момент ни к чему хорошему не приведет. В случае чего звоните, я ложиться не буду. Увидимся в девять в редакции.

ШЕЙНЕР *(в телефонную трубку)*. Знаете, что обидно?

РАШИН *(в телефонную трубку)*. Что?

ШЕЙНЕР *(в телефонную трубку)*. Что старик император не дожил до этого дня!

(Оба смеются. Потом актер, играющий ШЕЙНЕРА, откладывает свою телефонную трубку. РАШИН тоже кладет свою. Пауза.)

ЖЕНА РАШИНА. Ты не хочешь все-таки немного вздремнуть? У телефона могу остаться я.

РАШИН. Спасибо тебе за заботу, но мне надо еще кое-что сделать...

ЖЕНА РАШИНА. Что?

РАШИН. Написать закон о создании государства.

(Все актеры образуют ликующую ТОЛПУ. Они заполняют сцену и с песней перемещаются по ней в разные стороны.)

ТОЛПА *(поет)*. Своя у нас теперь держава — народ ликует... Австрийцев закатилась слава, чех торжествует!

Третье действие

(Актеры занимают свои прежние места, освобождая сцену, в центре которой остается только РАШИН. Сидя за письменным столом, он редактирует текст.)

2-Й АКТЕР *(к публике)*. По инициативе Маффи уже давно приступила к работе комиссия по подготовке конституции и первых законов страны. Рашин являлся ее членом, поэтому, составляя в ночь на 28 октября закон о создании государства, он мог взять за основу тексты, написанные этой комиссией, в первую очередь проекты доктора Фердинанда Пантучека, надворного советника Верховного суда в Вене.

(Входит ЖЕНА РАШИНА с чашкой чая для мужа.)

РАШИН. Спасибо...

ЖЕНА РАШИНА. Продвигаешься?

РАШИН. Почти закончил.

ЖЕНА РАШИНА. Что? Так быстро?

РАШИН. Я просмотрел заготовки Пантучека и еще кое-что и в конце концов решил написать короткий текст.

(РАШИН показывает жене лежащую перед ним бумагу.)

ЖЕНА РАШИНА. И это все?

РАШИН. Ну да...

ЖЕНА РАШИНА. Никогда бы не подумала, что создание государства займет всего полстраницы!

РАШИН. В революцию возможно все. Хочешь послушать?

ЖЕНА РАШИНА. Конечно!

РАШИН *(читает)*. Независимое чехословацкое государство появилось на свет. В интересах плавного перехода от прежнего правового порядка к новому и недопущения волнений Национальный комитет как орган суверенной государственной власти именем чехословацкого народа объявляет: Статья 1. Форму правления в чехословацком государстве определяют Национальное собрание и Чехословацкий Национальный совет в Париже в качестве изъявителей единодушной воли народа. До этого органом государственной власти является Национальный комитет. Статья 2. Все прежние земельные и имперские законы пока сохраняют силу. Статья 3. Все органы самоуправления и учреждения государственные, земельные и местные подчиняются Национальному комитету, продолжая пока действовать в соответствии с прежними законами и постановлениями. Статья 4. Настоящий закон вступает в силу с нынешнего дня. Статья 5. Исполнение настоящего закона возлагается на президиум Национального совета. Прага, 28 октября 1918 года.

2-Й АКТЕР *(к публике)*. Этот текст Рашин зачитал вечером 28 октября в Земском доме на пленарном заседании Национального комитета, который единогласно его одобрил...

2-Я АКТРИСА *(к публике)*. ... с незначительными изменениями...

2-Й АКТЕР *(к публике)*. ... и опубликовал в качестве первого закона Чехословацкого государства. Таким образом официально это государство было провозглашено 28 октября вечером, однако к тому моменту оно уже успело войти в историю благодаря множеству событий, которые произошли в первый же день его существования.

ЖЕНА РАШИНА. А почему здесь нет ни слова про республику?

РАШИН. Не можем же мы сами решать, какая будет форма правления, прежде чем делегация Крамаржа в Женеве договорится с Бенешем. Ведь чехословацкое государство возникло в результате того, что страны-победительницы признали нас и наше заграничное правительство. Без него, без согласования с ним и вообще раньше него мы тут не вправе определять будущее государственное устройство. Само собой, речь пойдет о республике, но пока мы не смеем об этом объявлять — чтобы не подвести Масарика. Вдруг он связан какими-нибудь обязательствами относительно конституционной монархии?

2-Й АКТЕР (*к публике*). Именно так на вопрос Карлы Рашиновой наверняка ответили бы тогда все чешские лидеры, находившиеся в самой стране. А ведь уже за десять дней до этого была обнародована знаменитая Вашингтонская декларация, в которой Чехословакия объявлялась республикой и даже конкретизировались ее конституционные принципы. Возникает вопрос: неужели у нас об этом никто не знал? Или знали, но тем не менее по какой-то причине предпочитали дожидаться окончания переговоров, которые вела делегация Национального комитета в Женеве? Или сыграли роль какие-то другие соображения — например, опасение, что слово «республика», произнесенное прежде времени, может спровоцировать попытку вооруженного сопротивления со стороны гибнущей монархии?

2-Я АКТРИСА (*к публике*). Ни в одном из исторических документов мы не нашли удовлетворительного ответа на эти вопросы. Нам лично кажется наиболее вероятным, что 28 октября в Праге о Вашингтонской декларации еще никто попросту не знал.

(Звонит телефон. РАШИН быстро подходит к нему и берет трубку; ЖЕНА РАШИНА поднимает отводную трубку.)

РАШИН (*в телефонную трубку*). Рашин слушает.

(Актер, играющий ТУСАРА, достает откуда-то телефонную трубку и говорит.)

ТУСАР (*в телефонную трубку*). Это Тусар. Звоню сейчас, чтобы не беспокоить вас позже. Никто не объявился, так что похоже, дело замяли.

РАШИН (*в телефонную трубку*). Скорее поняли всю безнадежность этой затеи. А у нас тут подготовка в полном разгаре, и я не сомневаюсь, что завтра грянет гром.

2-Й АКТЕР (*к публике*). Тусар звонил из Вены, а значит, телефон прослушивался. Поэтому Тусар говорил обиняками, а Рашин, по-видимому, считал это уже излишним.

РАШИН (*в телефонную трубку*). Мне сегодня не до сна, так что звоните в любое время, если узнаете что-нибудь новое.

ТУСАР (*в телефонную трубку*). Хорошо. Желаю удачи!

РАШИН (*в телефонную трубку*). Спасибо. До свидания.

(Актер, играющий ТУСАРА, откладывает телефонную трубку в сторону. РАШИН и ЖЕНА РАШИНА также кладут свои. Пауза.)

ЖЕНА РАШИНА. Алоис...

РАШИН. Да?

ЖЕНА РАШИНА. Можно я тебя кое о чем спрошу?

РАШИН. Разумеется.

ЖЕНА РАШИНА. Скажи мне, положи руку на сердце...

РАШИН. Уже положил!

ЖЕНА РАШИНА. Правда, ты рад, что старик сейчас в Женеве?

РАШИН. Господи, Карличка...

ЖЕНА РАШИНА. Не отпирайся.

2-Я АКТРИСА (*к публике*). Этот вопрос госпожи Рашиновой мы придумали. Но не без основания: нельзя исключить, что некоторые молодые лидеры политических партий, представленных в президиуме, то есть прежде всего Стршибрный и Рашин, рады были отправить в Женеву своих заслуженных шефов — Крамаржа и Клофача. Не то чтобы они, молодые, возмечтали о лаврах, которые иначе достались бы знаменитым партийным вождям, но бурная эпоха требовала более энергичных деятелей. На всякий случай мы оставляем этот вопрос без ответа Рашина.

ЖЕНА РАШИНА. Я знаю, что ты не честолюбив, и вовсе не подозреваю тебя в этом. Но я горжусь тобой. Когда-нибудь потомки назовут тебя героем 28 октября!

(РАШИН смеется и, подойдя к жене, обнимает ее. Все актеры образуют ликующую ТОЛПУ. Они заполняют сцену и перемещаются по ней в разные стороны с песней «С силой льва, с полетом соколиным...»)

Четвертое действие

(Актеры занимают свои прежние места, освобождая сцену. РАШИН и ЖЕНА РАШИНА продолжают обниматься, а потом отстраняются друг от друга.)

2-Я АКТРИСА (*к публике*). Наша реконструкция могла создать впечатление, что 28 октября сделали днем революции лишь чешские лидеры, находившиеся внутри страны, а именно — Рашин, Швегла, Сокуп и Стршибрный, которые, справедливо ожидая, что Австрия вот-вот капитулирует, решили начать действовать. Мы, однако, погрешили бы против истины, если бы забыли о втором творце революции — о народе. Позже, в ходе бурных дискуссий относительно того, кто являлся настоящим творцом 28 октября, было даже высказано мнение, о котором мы должны здесь упомянуть, невзирая на то, что для этого нам придется перенестись из ночи, занимавшей нас до сих пор, на несколько часов вперед. Согласно этой точке зрения...

3-Й АКТЕР (*к публике*). ... которой придерживался, например, директор типографии «Народни политики» Гейстлих...

2-Я АКТРИСА (*к публике*). ... переворот 28 октября произошел без какого-либо плана или организации — отчасти случайно, отчасти по недоразумению, по большей же части будучи проявлением неудержимого стремления народа, которое уловили в нужное время нужные люди.

3-Й АКТЕР (*к публике*). Под ними, конечно же, подразумеваются отнюдь не чешские лидеры. Эти последние якобы лишь выразили стихийную волю граждан, действуя, так сказать, под давлением улицы.

2-Я АКТРИСА (*к публике*). А кто же тогда были эти «нужные люди в нужное время»?

(*Выходят три актера, играющие БЕНЕША, ЧВАНЧАРУ и ГЕЙСТЛИХА.*)

ЧВАНЧАРА. Например, мы.

БЕНЕШ. Я главный редактор «Народни политики» Вацлав Бенеш, это секретарь нашей газеты Чванчара, а это — директор нашей типографии Гейстлих. 28 октября в десять часов двадцать минут в редакцию нашей газеты поступила нота Андраши...

ЖЕНА РАШИНА. В это время мой муж вместе с остальными уже направлялся к наместнику!

3-Й АКТЕР (*к публике*). Граф Андраши был министром иностранных дел Австро-Венгрии...

2-Я АКТРИСА (*к публике*). А эта его нота, если вы не знаете, была составлена на удивление двусмысленно: Австрия хотя и соглашалась на все требования, которые выдвигал президент Вильсон в качестве условия для начала мирных переговоров, в то же время не объявляла о своей капитуляции. Она просто делала вид, что готова начать переговоры о перемирии, а стало быть, и об условиях Вильсона, одним из которых было право чехословаков самим определять свою дальнейшую государственную жизнь. Ссылаясь на манифест императора Карла о федерации, Австрия явно имела в виду, что будет вести переговоры и со странами Антанты как их равноправный, пусть и побежденный партнер, и с собственными народами о создании национальных государств, выступая при этом в той или иной форме гарантом этого процесса. Все это без сомнения в тайной надежде сохранить монархию — по крайней мере как своего рода символическую «кровлю», венчающую новообразованные государства. Важно, однако, не то, как была задумана эта нота, а то, как ее восприняли.

ГЕЙСТЛИХ. Прочтя ноту, Бенеш бросился к Чванчаре и сказал...

БЕНЕШ (*ЧВАНЧАРЕ*). Война кончилась, мир!

ГЕЙСТЛИХ. Я тут же вспомнил про плакат с красной надписью «МИР», который хранил вот уже два года, и сказал о нем Чванчаре, а он как закричит...

ЧВАНЧАРА (*кричит*). Немедленно повесьте это у входа в редакцию! И велите вывесить в окнах красно-белые флаги!

2-Я АКТРИСА (*к публике*). Иными словами, эти господа, как и весь народ, включая его лидеров, истолковали ноту Андраши по-своему: как признание безоговорочного поражения Австрии, завершения войны и свободы чехов и словаков. Но только они думали, что народ понял эту ноту таким образом в основном благодаря их плакату и флагам в окнах. Кое в чем, как мы увидим, они были правы. Однако нам все же не верится, что без их плаката народ бы этой ноты не заметил.

(*БЕНЕШ, ЧВАНЧАРА и ГЕЙСТЛИХ между тем вывесили на сцене плакат с надписью «МИР» и развесили флаги.*)

БЕНЕШ. И вот плакат Гейстлиха вывесили, а на здании «Народни политики» затрепетали флаги — первые в этот день. Тем самым был подожен фитиль...

ГЕЙСТЛИХ. А потом пошло-поехало!

ЧВАНЧАРА. Прохожие останавливались, читали плакат, оживленно переговаривались, ждали подробностей. Весть быстро распространялась, напряжение росло, люди прибывали, поначалу небольшая группа превращалась в толпу.

(*Актеры один за другим выходят на сцену, смотрят на плакат, обсуждают его и постепенно образуют ТОЛПУ. Через какое-то время из толпы выходит актер с тростью, который будет играть КОПЕЦКОГО. Выступив на авансцену, он обращается ко всем присутствующим.*)

КОПЕЦКИЙ. И в этот момент, с вашего позволения, незаменимую роль сыграл я. Если бы не мое вмешательство, еще вопрос, имел бы или нет плакат на «Народни политике» то историческое значение, которое он получил, в чем господа из «Народни политики» видят исключительно свою заслугу. Но разрешите мне вначале представиться: я зеленщик из Старого города Франтишек Копецкий. 28 октября около десяти часов я шел из своего дома на Гавелской улице через Вацлавскую площадь, направляясь к вокзалу Франца Йосифа — сейчас это вокзал Вильсона...

3-Й АКТЕР (*к публике*). Сейчас это Центральный вокзал!

КОПЕЦКИЙ. Я собирался ехать по делам в Новый Быдзов, поэтому я прихватил с собой трость, которая неожиданным образом послужила мне дирижерской палочкой.

2-Я АКТРИСА (*к публике*). Нам не удалось выяснить, почему тогдашние зеленщики ездили по делам в Новый Быдзов, вооружившись тростью.

КОПЕЦКИЙ. Проходя мимо здания «Народни политики», я увидел толпу, подошел поближе и прочел, что заключен мир. И тут меня осенило: значит, мы свободны! Эту свою мысль я громогласно объявил во всеулышание. (*Кричит.*) Мы свободны! Все поглядели в мою сторону...

(*ТОЛПА с изумлением смотрит на КОПЕЦКОГО, а потом подхватывает.*)

ТОЛПА. Верно! Правильно! Мы свободны!

(*КОПЕЦКИЙ выкрикивает лозунги, машет тростью, а ТОЛПА ему вторит.*)

КОПЕЦКИЙ и ТОЛПА (*кричат*). Свобода! Свобода! Свобода! Свобода! Свобода! Свобода! Долой Австрию! Долой Австрию! Долой Австрию! Долой Габсбургов! Долой Габсбургов! Долой Габсбургов! Да здравствует Масарик! Да здравствует Масарик! Да здравствует Масарик! Да здравствует Вильсон! Да здравствует Вильсон! Да здравствует Вильсон! Свобода! Свобода! Свобода!

(*ТОЛПА постепенно затихает и, образуя колонну, под предводительством КОПЕЦКОГО вкруговую марширует по сцене.*)

КОПЕЦКИЙ. Новость быстро распространилась, и вскоре Вацлавскую площадь заполнил народ. Я шел во главе основной колонны и весь день задавал ей направление, подсказывал лозунги и дирижировал. Домой, к своей перепуганной молодой жене, я вернулся лишь поздно вечером, причем совсем охрипшим. Так что именно народ, увлекаемый мной, совершил этот переворот. Вожди лишь официально закрепили то, что сделали мы, простые люди с улицы. Да вот только нашими именами не называют набережные...

ЖЕНА РАШИНА. Про набережные могли бы и помолчать, пан Копецкий! Сначала примите мученическую смерть, как мой муж, а потом вашим именем тоже, может быть, что-нибудь назовут... И кстати, набережная носила его имя очень недолго. Впрочем, речь сейчас не об этом. Я могу документально подтвердить...

(*ТОЛПА окружает ЖЕНУ РАШИНА и внимательно ее слушает.*) ... что политические шаги, которые предприняли 28 октября мой муж и его единомышленники ради создания нашего государства, были заранее обдуманы и подготовлены и что переворот был назначен на 28 октября раньше, чем народ узнал о ноте Андраши и восстал. Впрочем, вожди эту ноту ожидали — как и реакцию, которую она вызвала. Иначе зачем было, например, мобилизовывать ночью «соколов»? И зачем бы моему мужу писать ночью закон о создании государства? Зачем президиум отправился к наместнику, еще когда пан Копецкий только читал плакат на здании «Народни политики»?

ТОЛПА (*скандирует*). Да здравствует Рашин! Да здравствует Рашин! Да здравствует Рашин!

3-Й АКТЕР (*к публике*). Карла Рашинова — хотя, конечно, другими словами и не в личной полемике с паном Копецким — спустя годы действительно выступила в защиту чешских политических лидеров, когда их заслуги ставились под сомнение. Господа из «Народни политики» и пан Копецкий в ходе дискуссий о 28 октября также высказывались публично, пусть и не подчеркивая своих заслуг столь откровенно, как это сделали мы в интересах пьесы.

2-Я АКТРИСА (*к публике*). Чем более памятным становился день 28 октября в сознании граждан, тем больше людей требовало признать их заслуги и протестовало против преувеличения заслуг чужих. С каждой годовщиной появлялись все новые свидетели, действующие лица и аналитики. Мы же завершим это отступление простой, но — с нашей точки зрения — самой вероятной догадкой: как это обычно случается, правда скорее всего находится посередине. Народ был бы ничто без вождей, а вожди ничто без народа. Заслуги, таким образом, были обоюдные: невиданное по размаху стихийное выступление народа явилось в тот момент главной опорой для политических акций его вождей внутри страны, и в свою очередь исключительно эти их акции могли в тот момент превратить волю народа в политическую реальность и привести к образованию независимой Чехословакии.

КОПЕЦКИЙ (*запевает*). Где родина моя...

(*ТОЛПА подхватывает, и все стоя исполняют чешский гимн.*)

Пятое действие

(*Закончив петь, актеры занимают свои прежние места, освобождая сцену. Посередине остаются лишь РАШИН и ЖЕНА РАШИНА. Он сидит в кресле, она — на полу у его ног, положив голову ему на колени. Оба задумчиво смотрят перед собой.*)

3-Й АКТЕР (*к публике*). Приближается утро 28 октября. Пан Копецкий еще спит сладким сном благонамеренного гражданина Австро-Венгерской монархии, он еще не охрип и даже не подозревает о том, что завтра помешает его поездке в Новый Быдзов. Доктор Рашин рассказал жене о планах на следующий день и дописал первый закон нового государства. Но как он, так и его супруга продолжают бодрствовать. Интересно, о чем они думают?

ЖЕНА РАШИНА. Ты о чем думаешь?

РАШИН. Не удивляйся: я думаю о тебе.

ЖЕНА РАШИНА. Обо мне? В такую минуту?

РАШИН. Я вспомнил, как ты в первый раз приехала ко мне в Меллерсдорф и как тебя огорчило мое плачевное состояние.

ЖЕНА РАШИНА. Ты выглядел просто ужасно. Но почему ты вдруг об этом вспомнил?

РАШИН. Сам не знаю.

3-Й АКТЕР (*к публике*). Вполне вероятно, что в продолжение этой долгой ночи, может быть, решающей для него, перед мысленным взором Рашина хотя бы раз да промелькнули воспоминания о самых важных моментах его жизни, так или иначе связанных с его политической борьбой. Он мог вспомнить о давнем процессе над «Омладиной», когда зал суда был битком набит вооруженными полицейскими, о смертном приговоре, которым завершился процесс над Крамаржем, о том, как он голодал в меллерсдорфской тюрьме.

Рашин наверняка сознавал, что именно сейчас начинает воплощаться идеал, к которому он стремился всю жизнь и во имя которого принес столько жертв.

3-Я АКТРИСА (*к публике*). Вполне вероятно также и то, что он вновь осознал, какой надежной опорой всегда была для него жена.

3-Й АКТЕР (*к публике*). Однако Рашин был очень сдержан в том, что касается изъяснения чувств, поэтому мы решили, что вряд ли он сказал своей жене больше, чем только что произнес. К тому же он всегда смотрел вперед, а не назад; тем более в эту ночь его мысли должно было занимать скорее будущее.

3-Я АКТРИСА (*к публике*). На что он надеялся, чего боялся? Какие исторические перспективы, альтернативы и опасности для нарождающегося государства открывались его взору?

3-Й АКТЕР (*к публике*). Этого мы не знаем, так что нам остается только догадываться. Зададимся вопросом: не мог ли он рассуждать, например, так...

РАШИН. Конечно, создание нового государства — дело нелегкое. Но еще труднее добиться, чтобы оно не погибло.

ЖЕНА РАШИНА. Ты думаешь, что наша республика может погибнуть?

РАШИН. Это будет маленькое государство с массой меньшинств, то есть по сути многонациональное. Вдобавок в геополитическом смысле оно окажется на очень видном месте. Что если, например, Германия опять поднимется?

ЖЕНА РАШИНА. Надеюсь, мирная конференция исключит такую возможность.

РАШИН. Ах, Карличка, Карличка, чем крепче узду накинёт конференция на Германию, тем более опасные последствия это может иметь... Вдруг там, например, утвердятся большевизм? Представляешь, чем это обернется для нас, если у нас под боком будет агрессивная Германия, а внутри страны — сильное немецкое меньшинство?

ЖЕНА РАШИНА. Я верю, что после войны все пойдет по-другому!

РАШИН. Многое — да, в этом нет сомнений. Америка стала мощной державой, которая сознает свою ответственность перед человечеством, у Чехословакии будут гарантии стран Антанты, и не только те, которые даст мирная конференция, но в остальном... Бенеш, конечно, позаботится о заключении договоров о военной помощи...

ЖЕНА РАШИНА. Вот видишь!

РАШИН. Однако этого еще недостаточно. От тех, кто совсем недавно знать не знал о нашем существовании, трудно ожидать, что если дело, не дай Бог, будет худо, они тут же с готовностью бросятся проливать за нас кровь. Договоры и действительность — вещи разные...

ЖЕНА РАШИНА. Да ведь они сами подпилят под собой сук, если, при нашем-то географическом положении, бросят нас на произвол судьбы!

РАШИН. Мы это понимаем, а вот поймут ли они? Да, нелегко будет заполнить вакуум, который останется в Центральной Европе после Австро-Венгрии... Это, конечно, был колосс на глиняных ногах, потому он и рухнул, но в его существовании на этом месте все же была своя логика. Пространство между Германией и Россией, которая однажды тоже поднимется, кто бы там ни победил, не могло так запросто стать жертвой чьей-либо экспансии, однако теперь, когда здесь вот-вот появится несколько новых, неопытных и к тому же по разным поводам конфликтующих государств, это вполне вероятно. Если бы хоть можно было полагаться на наших соседей — однако как знать, что-то у них еще получится! Венгры за одну ночь не переменяются, поляки уже сейчас перессорились друг с другом, а не развалится ли на куски слоеный пирог южных славян, одному Господу ведомо...

ЖЕНА РАШИНА. Ты меня пугаешь! С чего это тебе вздумалось каркать в такой момент? То-то бы порадовался Шмераль...

РАШИН. Я вовсе не каркаю! Просто напоминаю, какую ответственность перед будущими поколениями мы на себя берем и какой тяжелый труд нас ждет. Впрочем, куда больше, чем немцы, русские или венгры, меня сейчас беспокоят чехи...

ЖЕНА РАШИНА. Чехи?

РАШИН. Страна разорена, в нее годами никто ничего не вкладывал: взгляни хотя бы, в каком состоянии наши железные дороги! Люди за время войны разучились работать и теперь будут требовать все от государства: мол, если оно наше, так пусть о нас позаботится... Социалисты хотят делить землю в больших хозяйствах — единственных, которые еще как-то держатся... Для того чтобы укрепить валюту, обеспечить подъем экономики, не обойтись без жестких мер и жертв, а как раз к этому сейчас люди готовы меньше всего. Они давно забыли, что свобода — это в первую очередь ответственность! До сих пор мы были едины перед лицом общего врага, но когда он исчезнет и от разрушения придется переходить к созиданию, все будет иначе. Признаться, когда я смотрю на некоторых моих коллег по Национальному комитету и представляю, как они будут править, мне делается немного не по себе...

ЖЕНА РАШИНА. Но финансовая политика у тебя продумана до мелочей, и если ее примут...

РАШИН. Это еще вопрос! Она заведомо не популистская, и одна наша партия вряд ли сумеет на ней настоять. Нас мало, и новый закон о выборах не придаст нам влияния: демагогия Клофача людям понятнее, мы же хороши разве что для университетской профессуры...

3-Я АКТРИСА (*к публике*). Для справки: Рашин был членом государственно-демократической партии, после переворота — национально-демократической.

3-Й АКТЕР (*к публике*). И еще кое-что: хотя доктор Алоис Рашин был убит уже 5 января 1923 года его политическим противником, в качестве первого чехословацкого министра финансов он успел претворить в жизнь свою экономическую программу, благодаря чему Чехословакия — став едва ли не островом посреди всеобщего хаоса инфляции — приобрела твердую и все укрепляющуюся валюту и вскоре достигла значительных экономических успехов. Финансовой политикой Рашина восхищалась вся Европа!

РАШИН. Понимаешь, Карличка, все очень сложно: где грозит нужда, там грозит социализм — а где грозит социализм, там грозит и нужда...

(Пауза)

ЖЕНА РАШИНА. Лойза...

РАШИН. Да?

ЖЕНА РАШИНА. Пожалуйста, не надо сейчас об этом думать! Ты же знаешь, что тебя ждет завтра... Ты не хочешь хоть ненадолго вздремнуть?

РАШИН (*смотрит на карманные часы*). Через час я должен звонить Соукупу насчет утреннего заседания президиума. Но, может быть, на часок я все же отключу мозг...

ЖЕНА РАШИНА. Это самое разумное, что ты сейчас можешь сделать!

(РАШИН удобно устраивается в кресле и закрывает глаза. ЖЕНА РАШИНА извлекает откуда-то плед, бережно укутывает мужа и идет к его письменному столу. РАШИН дремлет; ЖЕНА РАШИНА осторожно берет в руки бумагу с проектом первого закона и долго с волнением на нее смотрит. Все актеры начинают понемногу сходить к середине сцены, но не заполняют ее, а лишь образуют кольцо вокруг РАШИНА и ЖЕНЫ РАШИНА. Одновременно начинает тихо звучать музыка из оперы «Либуше» Сметаны, которая постепенно усиливается. ЖЕНА РАШИНА медленно кладет бумагу обратно на стол, а потом, глядя в зрительный зал, начинает в сопровождении оркестра петь заключительную арию «Пророчество Либуше». С ее пением перемежаются по принципу звукового коллажа фрагменты записи подлинных речей разных чешских и словацких государственных деятелей, отражающие неблагоприятные и благоприятные моменты и важнейшие исторические изменения, которые пережила Чехословакия со времени ее возникновения до наших дней. В качестве варианта эти фрагменты могут зачитываться через усилитель голосом РАШИНА, ибо это в конце концов его сон. После того как коллаж из «Пророчества Либуше» и исторических цитат достигает кульминации и завершения, наступает гробовая тишина. Все стоят без движения и смотрят на РАШИНА. Он просыпается, протирает глаза и неуверенно озирается вокруг.)

3-Й АКТЕР (*к публике*). Исторически ничем не подтверждено, что доктор Алоис Рашин рано утром 28 октября ненадолго заснул. И еще менее может быть подтверждено то, что ему снился этот сон.

4-Я АКТРИСА (*к публике*). Но тогда кому же он снился?

(Затемнение)

Конец пьесы

Письмо Густаву Гусаку

Доктору Густаву Гусаку,
генеральному секретарю ЦК КПЧ

Уважаемый пан доктор,
наши предприятия и учреждения образцово работают, труд граждан приносит заметные плоды, что сказывается в постепенном повышении их жизненного уровня, люди обзаводятся домами, машинами, детьми, отдыхают, одним словом — живут.

Все это, однако, еще не обязательно свидетельствует об успехе или неуспехе Вашей политики: после любых общественных потрясений люди всегда рано или поздно возвращаются к будничным делам, потому что они просто хотят жить; и делают они это в конечном счете ради самих себя, а не ради того или иного государственного руководства.

Люди, правда, не только ходят на работу, в магазины и живут своей жизнью. Они занимаются и другими делами: принимают многочисленные трудовые обязательства, выполняют и перевыполняют их; все как один участвуют в выборах и единогласно выбирают предложенных им кандидатов; активно работают в различных политических организациях; ходят на собрания и демонстрации; поддерживают и одобряют все, что следует; нет даже намека на малейшее несогласие с тем, что предпринимает правительство.

От этих фактов уже нельзя просто отмахнуться; тут уже уместно всерьез задаться вопросом: не подтверждает ли все это, что Вам удалось успешно выполнить задачу, которую поставило перед собой Ваше руководство, то есть заручиться поддержкой населения и консолидировать страну?

Ответ зависит от того, что мы подразумеваем под понятием «консолидация».

Если взять в качестве единственного критерия различные статистические данные, официальные сводки или полицейские донесения о политической активности граждан и тому подобном, то, конечно же, вряд ли можно сомневаться в том, что у нас имеет место консолидация.

Но что если мы будем понимать под консолидацией нечто большее, а именно реальное внутреннее состояние общества? Что если мы станем интересоваться также и другими вещами, более тонкими и не столь легко поддающимися учету, но ничуть не менее важными, а именно тем, что на самом деле кроется за всеми этими данными с точки зрения личного человеческого опыта? Что если задаться и такими вопросами, как, например: что было сделано для нравственного и духовного возрождения общества, для развития истинно человеческих граней жизни, для того, чтобы поднять достоинство человека на более высокую ступень, чтобы он действительно свободно и по-настоящему реализовал себя в мире? Что обнаружится, если мы переведем взгляд с чисто внешних проявлений на цепь их внутренних причин и следствий, их связей и значений, короче говоря, на тот потаенный уровень действительности, на котором эти явления только и получают некий общий человеческий смысл? Можем ли мы и в этом случае считать, что наше общество консолидировано?

Осмеливаюсь утверждать: нет. Осмеливаюсь утверждать, что — вопреки всем привлекательным внешним фактам — внутренне наше общество не только вовсе не консолидировано, но наоборот, погружается во все более глубокий кризис, который в чем-то даже опаснее всех тех кризисов, какие памятны нам по нашей новейшей истории.

Попытаюсь обосновать это мое утверждение.

Главный вопрос, каким при этом следует задаться, таков: почему люди ведут себя именно так, как ведут; почему они делают все то, что в итоге создает привлекательное впечатление поголовно единого общества, поголовно поддерживающего свое правительство? Думаю, что каждому непредвзятому наблюдателю ясно: на это их толкает с т р а х .

Из страха потерять место учитель в школе учит вещам, в которые не верит; из страха за свое будущее ученик их повторяет; из страха, что он не сможет продолжать учебу, молодой человек вступает в Союз молодежи и, будучи его членом, делает все, что от него требуют; из страха, что сын или дочь, поступая в институт, не наберут необходимого количества баллов при существующей чудовищной политической системе оценок, отец соглашается занимать различные должности и «добровольно» делает то, что от него хотят. Из страха перед возможными последствиями люди участвуют в выборах, избирают выдвинутых кандидатов, притворяясь, что считают этот ритуал настоящими выборами; из страха лишиться средств к существованию, положения в обществе и испортить себе карьеру они ходят на собрания и голосуют за все, что велено, или молчат; из страха они подвергают себя унижительной процедуре самокритики, публично каются и неискренне заполняют массу унижительных анкет; из страха, что кто-нибудь донесет, они не выражают прилюдно, а часто даже и в семье, свои истинные взгляды. Лишь из страха перед ухудшением материального положения, из желания повысить свое благосостояние и понравиться начальству трудящиеся в большинстве случаев принимают всевозможные производственные обязательства; из тех же соображений они часто создают бригады социалистического труда, наперед зная, что их главная цель — это чтобы о них отрапортовали наверху. Из страха люди ходят на различные официальные торжества и демонстрации. Из страха, что им не дадут работать, многие ученые и деятели искусств заявляют о своей приверженности идеям, в которые они на самом деле не верят, пишут то, чего не думают или что заведомо считают ложью, вступают в официальные организации, участвуют в работе, о

смысле которой они самого невысокого мнения, или сами уродуют и портят свои произведения. В попытке спасти себя многие даже сообщают властям, что другие занимались тем, чем сами доносчики занимались вместе с ними.

Страх, о котором я говорю, конечно, нельзя считать страхом в обычном психологическом смысле, то есть некоей конкретной эмоцией: как правило, мы не видим вокруг себя людей, дрожащих от страха как осиновый лист, а видим вполне довольных и уверенных в себе граждан. Речь идет о страхе в более глубоком, я бы сказал, этическом смысле, то есть о более или менее осознаваемом участии в коллективном чувстве постоянной и всепроникающей угрозы; об озабоченности в отношении того, что поставлено или может быть поставлено под угрозу; о постепенном привыкании к этому ощущению угрозы как субстанциальной составляющей окружающего мира; о все более масштабном, естественном и искусном овладении различными формами внешнего приспособления в качестве единственного эффективного способа самозащиты.

Разумеется, страх — не единственный «строительный материал» современной структуры общества.

Тем не менее он остается основным, фундаментальным материалом, без которого бы никогда не могли быть достигнуты то наружное единение и то дисциплинированное единодушие, на которых базируются официальные документы, говоря о консолидации.

Возникает вопрос: чего, собственно, люди боятся? Судебных процессов? Пыток? Лишения имущества? Депортации? Казней? Конечно, нет: эти жестокие формы давления власти на граждан, к счастью (во всяком случае у нас), ушли в прошлое. Ныне такое давление имеет более рафинированные и изысканные формы, и хотя до сих пор проводятся политические процессы (кто не знает, что их организует и направляет власть?), они представляют собой уже лишь крайнюю меру, главный же упор перенесен в область экзистенциального давления. Это, впрочем, не слишком меняет суть дела: известно, что значение всегда имеют не столько абсолютные, сколько относительные размеры угрозы; важнее не то, что человек объективно потеряет, а скорее то, какую это играет для него — в масштабах мира, где он живет, с его иерархией ценностей — субъективную роль. Иными словами, если, например, сегодняшний человек боится, что ему не дадут работать по специальности, этот страх может быть таким же сильным и может толкать его на такие же поступки, как когда человеку в других исторических условиях грозила конфискация имущества. При этом метод экзистенциального давления в каком-то смысле даже более универсален, так как у нас нет ни одного человека, которого нельзя было бы экзистенциально (в самом широком смысле слова) ущемить; каждому есть что терять, и поэтому у каждого есть причина для страха. Спектр того, что человек может потерять, богат: это и разнообразные привилегии правящей верхушки и все особые блага, связанные с обладанием властью, это и возможность спокойно трудиться, продвигаться по службе и зарабатывать, пользоваться вообще работать по специальности или возможность учиться, это, наконец, возможность пользоваться наравне с другими гражданами хотя бы ограниченными правовыми гарантиями и не попасть в тот слой, в отношении которого уже не действуют законы, писанные для прочих, то есть в число жертв чехословацкого политического апартеида. Да, у всех есть что терять, даже последнего разнорабочего можно перевести на худшее и более низкооплачиваемое место, и даже он может жестоко поплатиться, если на собрании или в пивной честно выскажет свое мнение.

Эта система экзистенциального давления, охватывающая все общество и каждого отдельного гражданина, в виде ли конкретной ежедневной угрозы или просто в качестве ее возможности, однако, не могла бы успешно функционировать, если бы не имела — точно так же, как преодоленные ныне более жестокие формы давления, — естественной опоры в той силе, которая обеспечивает ей универсальный, комплексный характер и власть: в вездесущей и всемогущей государственной полиции. Этот чудовищный паук оплел все общество своей невидимой паутиной; это есть та крайняя точка, в которой в конце концов пересекаются все векторы страха, последнее и неопровержимое свидетельство безнадежности любой попытки граждан бороться с государственной властью. И хотя большинство людей эту паутину обычно не видит и не может ее потрогать, даже самый что ни на есть рядовой гражданин хорошо о ней знает, каждый миг и на каждом шагу помнит о ее незаметном присутствии и соответственно себя ведет — так, чтобы в лучшем виде предстать перед ее незримыми глазами и ушами. И он знает, почему: для того чтобы этот паук ворвался в его жизнь, вовсе не обязательно попасть прямо к нему в лапы. Человека не обязательно должны допрашивать, предъявлять ему обвинение, судить его и подвергать наказанию, ведь его начальство тоже оплетено этой паутиной, и каждая инстанция, решающая его судьбу, так или иначе сотрудничает или обязана сотрудничать с государственной полицией. Поэтому уже тот факт, что государственная полиция может в любой момент вторгнуться в жизнь человека и от такого вторжения нет никакой защиты, ведет к тому, что его жизнь теряет часть своей естественности и подлинности и превращается в вечное притворство.

Итак, в основе стремления человека защитить себя и сохранить то, что у него есть, лежит страх; главной же движущей силой его желания приобрести то, чего у него пока нет, становятся, как мы все чаще наблюдаем, эгоизм и карьеризм.

Едва ли когда в последнее время общественная система так откровенно и беззащитно предоставляла случай проявить себя людям, готовым в любое время поддержать что угодно, если это сулит им прибыль; людям беспринципным и бесхребетным, могущим ради жажды власти и личной выгоды сделать что угодно; лакеям по натуре, готовым пойти на любое самоуничижение и когда угодно принести в

жертву свою честь и своих ближних, чтобы подольститься к сильным мира сего. В этих условиях не случайно, что столько общественных и властных функций выполняют сегодня отъявленные карьеристы, мошенники и те, у кого рыльце в пушку. Или просто типичные коллаборационисты, то есть люди, имеющие исключительную способность в любой ситуации убедить самих себя, будто своими грязными делами они что-то спасают или препятствуют тому, чтобы их место заняли иные, куда худшие. В этих обстоятельствах, наконец, не случайно и то, что именно сейчас достигла наибольшего за последнее десятилетие размаха коррупция среди самых разных общественных деятелей, готовность совершенно откровенно брать взятки за что угодно и, принимая решения, без зазрения совести исходить в первую очередь из того, что диктуют им разнообразные корыстные личные интересы.

Людей, искренне верящих всему, что твердит официальная пропаганда, и бескорыстно поддерживающих правительство, сегодня меньше, чем когда-либо. Зато лицемеров все больше — собственно, в какой-то степени каждый гражданин вынужден лицемерить.

Это безрадостное положение дел имеет свои вполне логичные причины: редко какой режим в последнее время столь мало интересовали истинный образ мыслей внешне лояльных граждан и искренность их публичных проявлений. Достаточно упомянуть хотя бы о том, что в ходе всевозможных собраний, на которых людей заставляют выступать с самокритикой и каяться, никого в сущности не занимает, делают ли они это искренне или только ради собственной выгоды; можно даже сказать — более или менее автоматически предполагается скорее второе, и никто не видит в этом ничего безнравственного. Наоборот, именно личную выгоду чаще всего приводят в качестве довода, когда предлагают сделать подобное заявление: кающегося стремятся убедить не в том, что он ошибался или заблуждался, а большей частью лишь в том, что он должен покаяться, дабы спасти себя. При этом всячески расписывают перспективы, которые такое выступление откроет перед покаявшимся, а привкус горечи, какой у него останется после этого, объявляют химерой. И если бы вдруг нашелся чудаков, который бы сделал это от чистого сердца и в подтверждение своей искренности заранее отказался от положенного ему вознаграждения, он бы, вероятнее всего, был подозрителен самому режиму.

Можно утверждать даже, что всех нас в своем роде откровенно подкупают: мол, если ты на своем предприятии займешь ту или иную общественную должность (разумеется, для того чтобы служить не остальным сотрудникам, а начальству), то мы наградим тебя теми или иными благами. Если вступишь в Союз молодежи — получишь право и средства так или иначе развлекаться. Если ты как творческая личность принимаешь участие в тех или иных официальных мероприятиях, тебе предоставят те или иные возможности для творчества. Думай, что хочешь, лишь бы ты был внешне согласен, лишь бы не мешал, лишь бы подавал в себе влечение к правде и совести — тогда перед тобой распахнутся настежь все двери.

Но если главным принципом общественной самореализации является принцип внешней приспособимости, то какие качества мобилизуются при этом в людях и какие люди выдвигаются на первый план?

Где-то между самозащитой от окружающего мира, основанной на страхе, и желанием завоевать мир, обусловленным стремлением к личной выгоде, лежит область, которую нельзя обойти вниманием, так как она тоже в значительной мере формирует моральный климат сегодняшнего «сплоченного общества». Эта область — равнодушие и все, что с ним связано.

После недавних исторических потрясений и после того, как в стране утвердилась нынешняя система, люди как будто утратили веру в будущее, в возможность исправления дел человеческих, в смысл борьбы за правду и право. Они махнули рукой на все, что выходит за рамки их будничных забот о личном благе; они различными способами бегут от действительности, перестают интересоваться высшими ценностями и своими ближними, впадают в апатию и духовную пассивность, погружаются в депрессию. А тот, кто еще пыгается сопротивляться, например, отвергает принцип лицемерия как основу существования, сомневаясь в ценности такой самореализации, за которую приходится платить самоотчуждением, кажется все более равнодушному окружению чудаком, безумцем, донкихотом — и в конце концов он неизбежно начинает вызывать раздражение, ибо он ведет себя не как все, и мало того, своим поведением заставляет других критически взглянуть на себя со стороны. Либо — другая возможность — равнодушное общество наружно исключает такого человека из своих рядов или избегает его, как это требуется, а втайне или в частной жизни ему симпатизирует, надеясь подобной скрытой симпатией к тому, кто ведет себя так, как само оно должно себя вести, но не может, успокоить свою совесть.

Такое равнодушие, однако, парадоксальным образом становится весьма активным общественным фактором. Не идут ли многие к избирательным урнам, на собрания, в официальные организации не столько от страха, сколько именно от равнодушия? Не определяется ли столь полная на первый взгляд политическая поддержка режима зачастую лишь рутинной, автоматизмом и привычкой удобно жить, за которыми кроется фактически не что иное, как всеобщее безразличие? Участие во всех этих политических ритуалах, в которые никто не верит, хотя и бессмысленно, но это по крайней мере гарантирует спокойствие — и разве неучастие в них не столь же бессмысленно? Этим ничего не добьешься, а только потеряешь покой.

Большинство людей не любит жить в постоянном конфликте с властью, тем более что подобный конфликт не может закончиться иначе, как поражением одиночки. Раз так, почему бы человеку не делать то, что от него требуют? Ведь это ему ничего не стоит, и со временем он вообще перестает об этом задумываться: тут даже и размышлять не о чем.

Ощущение безнадежности порождает апатию, апатия же — приспособленчество, привычку к рутинным поступкам (которые выдаются за доказательства политической активности масс). Все это вместе взятое создает стереотип так называемой нормы поведения, по сути своей глубоко пессимистичный.

Чем больше смиряется человек с невозможностью исправить положение дел и с отсутствием каких-либо высших ценностей и целей, то есть с невозможностью проявить себя «вовне», в тем большей мере его энергия направляется туда, где она встречает относительно наименьшее сопротивление: «внутри». Люди думают в основном о себе, о своем доме и семье; именно там они обретают покой, там могут забыть всю тупость мира и свободно развивать свои творческие способности. Они обставляют дом красивыми вещами, хотят улучшить свой быт, сделать жизнь приятнее, строят дачи, возятся с машинами, заботятся о том, чтобы лучше есть и одеваться, создать домашний уют, короче — обращают внимание в первую очередь на материальные стороны своей частной жизни.

Разумеется, такая ориентация общества имеет благоприятные экономические последствия. Под ее воздействием развиваются запущенные сферы производства товаров массового потребления и услуг населению; она ведет к повышению общего жизненного уровня людей; с точки зрения народного хозяйства она представляет собой немаловажный источник динамической энергии, способной хотя бы отчасти выполнять те задачи в области материального благосостояния общества, с которыми вряд ли справилась бы неуклюжая бюрократичная и малоэффективная государственная экономика (достаточно сравнить, например, объем и качество частного и государственного строительства).

Власти такое перетекание энергии в сферу частной жизни приветствуют и поддерживают. Но почему?

Из-за благоприятных последствий, которые имеет этот процесс как стимул экономического развития? Из-за этого, конечно, тоже. Однако весь дух современной политической пропаганды и практики, незаметно, но систематически поднимающей эту обращенность «внутри» до уровня главного содержания самореализации человека в мире, отчетливо указывает, почему на самом деле государственная власть так приветствует подобное перетекание энергии: прежде всего потому, что это — уже изначально, психологически — есть бегство из области «общественного». Справедливо предполагая, что направляемые ею в другое русло силы, будь они обращены «вовне», раньше или позже не могут не повернуться против нее (или против того ее обличья, от которого она не хочет отказаться), она не колеблясь выдает за человеческую жизнь то, что фактически является лишь ее жалкой подменой. Поэтому ради беспрепятственного манипулирования обществом его внимание целенаправленно отвлекается от него самого, то есть от общественных дел. Приковывая все внимание человека к его чисто потребительским интересам, власть старается отнять у него способность осознавать духовное, политическое и моральное насилие, творимое над ним все в большей и большей степени. Низводя человека до уровня одномерного носителя идеалов раннего потребительского общества, власть стремится превратить его в материал, легко поддающийся массовому манипулированию. Опасность, что человек может возмечтать о какой-либо из бесчисленных и непредсказуемых возможностей, которые даны ему природой, призвано в зародыше подавить ограничение его жалким горизонтом возможностей, которые он получает как потребитель в скудных условиях централизованного рынка.

Все свидетельствует о том, что государственная власть ведет себя абсолютно адекватно существу, единственная цель которого — простое самосохранение. Стараясь идти по пути наименьшего сопротивления, она совершенно не заботится о том, что цена этого — жестокий удар по человеческой целостности, безжалостное умаление человека.

При этом та же власть с поразительным упорством провозглашает революционную идеологию, центром которой является полное освобождение человека! Но где же на деле мы видим человека, всесторонне, гармонично и по-настоящему развивающего свою личность? Человека, освободившегося из плена отчуждающих общественных аппаратов, мистифицированной иерархии жизненных ценностей, формальных свобод, от диктатуры вещей и фетишизации власти денег? Человека, в полной мере вкушающего плоды социальной и правовой справедливости, творчески участвующего в экономике и политике, возвышенного в его человеческом достоинстве, вернувшегося к себе? Вместо свободного хозяйствования, свободного участия в политической жизни и свободного духовного развития человеку в конце концов предоставлена лишь возможность свободно выбрать, какую марку холодильника или стиральной машины приобрести.

Иными словами: за пышным фасадом великих гуманистических идеалов прячется скромный семейный домик социалистического обывателя! С одной стороны — напыщенные лозунги о невиданном расцвете всех свобод, невиданном полнокровии и богатстве жизни, а с другой — небывалая серость и пустота жизни, сведенной к д о б ы в а н и ю !

На вершине пирамиды манипулирующих воздействий, превращающих человека в тупого и послушного члена потребительского стада, как я уже говорил, стоит скрытая, но всемогущая сила: государственная полиция. Видимо, не случайно именно на ее примере можно особенно наглядно показать пропасть между идеологическим фасадом и повседневной действительностью. Каждый, кто имел печальную возможность на собственном опыте убедиться, каков «почерк» этого учреждения, не может не посмеяться над официально предлагаемым объяснением смысла его существования. Ибо кто поверит, что грязная возня тысяч мелких стукачей, профессиональных шпииков, закомплексованных, хитрых, завистливых и злобных

мещан и бюрократов, весь этот дурно пахнувший ком предательств, перестраховок, лжи, сплетен и интриг и есть «почерк» рабочего, защищающего народное правительство и его революционные достижения от вражеских козней? Ведь главным врагом подлинно рабочего народовластия, не будь у нас все перевернуто с ног на голову, должен бы оказаться именно этот готовый на все и ничем не брезгающий обыватель, который пытается исцелить свое увечное человеческое самосознание доносами на сограждан и обличье которого явственно маячит за повседневной практикой тайной полиции — обличье истинного создателя ее «почерка»! Думаю, это гротескное противоречие теории и практики вряд ли можно считать чем-то иным, нежели естественным следствием настоящей миссии сегодняшней государственной полиции. Эта миссия заключается не в том, чтобы оберегать свободное развитие человека от тех, кто творит над ним насилие, а наоборот — в том, чтобы оберегать этих последних от опасности, какую означала бы для них любая попытка человека действительно свободно развиваться.

Противоречие между революционным учением о новом человеке и новой морали и приземленной концепцией жизни как потребительского счастья вызывает вопрос, почему, собственно, власть так судорожно цепляется за свою идеологию. По-видимому, лишь потому, что идеология — как условная ритуально-коммуникативная система — дает ей видимость законности, преемственности, сплоченности и служит ей престижной маской для ее прагматической практики.

Подлинные конкретные интересы этой практики, впрочем, на каждом шагу с неизбежностью проникают в официальную идеологию. Из недр гигантской горы идеологических фраз, которыми власть постоянно пытается воздействовать на человека и которых он, ввиду их нулевой информативной ценности, большей частью почти не воспринимает, до него доносится единственный по-настоящему осмысленный голос — реалистичный совет: не вмешивайся в политику, это наша забота, делай только то, что мы тебе скажем, не философствуй понапрасну и не суй нос, куда не надо, помалкивай, выполняй свою работу, заботься о самом себе — и будешь счастлив.

И человек следует этому совету. Забота о собственном существовании — это в конце концов единственное, в чем он может без труда достичь согласия с правительством. Почему бы этим не воспользоваться? Особенно когда ничего другого все равно не остается!

Какие последствия имеет подобное положение дел, которое я попытался в общих чертах набросать? Иными словами: что делает с людьми и из людей система, основанная на страхе и апатии, которая загоняет человека в нору чисто материального существования и в качестве главного принципа коммуникации в обществе предлагает ему лицемерие? Во что ввергает общество политика, единственная цель которой — внешний порядок и всеобщее послушание, независимо от того, какими средствами и какой ценой это достигается?

Не нужно обладать особым воображением, чтобы понять, что такая ситуация с неизбежностью ведет к постепенной коррозии всех нравственных норм, к разрушению всех критериев порядочности и всеобъемлющему подрыву доверия к таким ценностям, как правда, принципиальность, искренность, бескорыстие, достоинство и честь. К тому, что бытие низводится до уровня биологической вегетации, то есть к той «глубинной» деморализации, которая обусловлена утратой надежды и кризисом смысла жизни. К новой актуализации того трагического аспекта положения человека в условиях современной технической цивилизации, который связан с исчезающим горизонтом абсолюта и который я назвал бы кризисом тождества личности. Ибо может ли сдерживать распад тождества человека с собой самим система, столь неумолимо требующая от него быть кем-то иным, чем самим собой?

Был достигнут порядок. Ценой омертвления духа, отупения сердца и опустошения жизни.

Была достигнута внешняя консолидация. Ценой духовного и нравственного кризиса общества.

Самое скверное в этом кризисе то, что он углубляется: достаточно лишь немного подняться над ограниченной перспективой повседневности, чтобы с ужасом осознать, как быстро все мы покидаем позиции, с которых еще вчера отказывались уйти. Что еще вчера считалось в обществе неприличным, то сегодня сплошь и рядом оправдывается; видимо, завтра это будет восприниматься уже как нечто естественное, а послезавтра, может быть, даже как образец порядочности. То, о чем мы еще вчера твердили, что никогда с этим не смирился, или что просто считали невозможным, сегодня без всякого удивления принимается как факт. И наоборот, что для нас еще недавно само собой разумелось, мы сегодня рассматриваем как исключение из правил, а скоро — кто знает — будем считать недоступным идеалом.

Метаморфозы критериев «естественного» и «нормального» и сдвиги в нравственном чувстве, происшедшие в обществе за последние годы, глубже, чем могло бы показаться на первый взгляд. Рука об руку с возрастающим отупением с неизбежностью притупляется также способность это отупение осознавать.

Болезнь словно перекидывается с листьев и плодов на ствол и корни. Самые большие опасения, таким образом, внушает перспектива нынешнего положения вещей.

Общество внутренне развивается и богатеет прежде всего потому, что все глубже, шире и более дифференцированно себя осознает.

Главным инструментом этого самоосознания общества является его культура. Культура — как конкретная область человеческой деятельности — влияет, хотя зачастую опосредованным

образом, на общее состояние духа и в то же время сама постоянно испытывает влияние со стороны последнего.

Там, где тоталитарное манипулирование обществом тоталитарно подавляет его внутреннее развитие, с закономерностью в первую очередь подавляется культура; не просто «автоматически», как нечто, что по своей онтологической сути противоположно «духу» любой манипуляции обществом, но, так сказать, «программно»: исходя из логичного опасения, что в первую очередь именно через культуру — как инструмент собственного самоосознания — общество поймет также и то, какому насилию оно подвергается. Через культуру общество углубляет свою свободу и открывает истину — так зачем она власти, суть которой заключается именно в подавлении этих ценностей? Ведь такая власть признает единственную «истину»: ту, которая ей в данный момент нужна. И единственную «свободу»: провозглашать эту «истину».

Мир такой «истины», которую питает не диалектический климат истинного познания, но лишь климат властных интересов, — это мир идейной стерильности, застывших догматов, закостеневшей доктрины и прагматического произвола как ее естественного следствия.

Это мир запретов, ограничений, указаний. Мир, где под политикой в области культуры подразумеваются прежде всего действия полиции.

Немало уже было сказано и написано о том, до какой степени разрушена наша современная культура: о сотнях запрещенных писателей и книг, десятках закрытых журналов; о разгроме всех издательских планов и репертуара театров, о разрыве всех духовных связей; о разорении выставочных залов и пестрой палитре преследований и препон, чинимых в этой области; о роспуске всех существовавших ранее творческих организаций и многих научных учреждений, на смену которым пришли некие муляжи, руководимые горсткой агрессивных сектантов, известных карьеристов, отъявленных трусов и бездарных честолюбцев, использующих в создавшемся всеобщем вакууме свой единственный шанс. Не стану описывать все это вновь, а попытаюсь скорее задуматься над некоторыми глубинными аспектами данного положения вещей, связанными с темой моего письма.

Прежде всего: как бы плохо сегодня ни обстояло дело, это еще не значит, что не существует никакой культуры. В театрах идут представления, по телевизору — ежедневные передачи; выходят книги. Но всю эту легальную общественную культуру характеризует один общий признак: **поверхностность**, обусловленная ярко выраженным отчуждением от самой сути культуры — как инструмента человеческого, а тем самым и общественного самоосознания, — которое возникло в результате ее выхолащивания. Если и в наши дни создаются иногда несомненные ценности, например, раз уж я говорю об искусстве, блестящие актерские работы, то к ним относятся терпимо лишь потому, что они в высшей степени сублимированы и с точки зрения власти относительно безвредны. Однако и тут, как только начинает более или менее отчетливо ощущаться общественная значимость подобных произведений, власть принимает инстинктивно бороться с ними (известны случаи, когда хороший актер был запрещен по сути дела лишь за то, что он слишком хорош).

Впрочем, дело не только в этом. Меня занимает вопрос, как упомянутая поверхностность проявляется в областях, где имеются средства гораздо более однозначно отобразить человеческий опыт, а следовательно, намного более явно выполняющих функцию самоосознания общества.

Приведу пример: допустим, публикуется — как это иногда и происходит — литературное произведение, скажем, пьеса, которому нельзя отказать в мастерстве, убедительности, яркости и глубине мысли. Какими бы достоинствами такое произведение ни обладало, мы, однако, всегда можем быть уверены, что — благодаря цензуре или автоцензуре, самообману, безразличию или расчету автора — оно ни на сантиметр не выходит за рамки фетишей условного, банального и в сущности ложного общественного сознания. Этим сознанием за аутентичный опыт мира принимается — и выдается — лишь видимость такого опыта, слагающаяся из череды поверхностных, обточенных и пригнанных друг к другу деталей, или же из неких мертвых теней опыта, уже давно укоренившегося в общественном сознании. Такое произведение, несмотря на это (или, точнее, именно поэтому), многих развлекает, волнует, трогает и захватывает, но при этом ничего не озаряет светом истинного познания, не открывает чего-либо неизвестного, не выражает чего-либо невысказанного и не дает нового, самобытного и впечатляющего свидетельства чего-либо, ранее лишь предполагаемого. Короче говоря: имитируя реальный мир, такое произведение его по сути дела фальсифицирует. Что же касается конкретной формы такой поверхностности, не случайно, что ее чаще всего черпают из источника, который, благодаря своей испытанной безвредности, традиционно пользуется у нас расположением власти, как буржуазной, так и пролетарской. Я говорю об эстетике банальности, коренящейся в буржуйской мещанской морали, о сентиментальной философии «соседской гуманности», о «кухонном» благодушии, о провинциальной концепции мира, основанной на вере в его доброту. Я говорю об эстетике, чьим стержнем является культ разумной посредственности, которая покоится на фундаменте затхлой национальной самоуспокоенности, руководствуется принципом размельчения и приглаживания и в конце концов выливается в ложный оптимизм самой низменной интерпретации лозунга «Правда побеждает!».

Произведений, пропагандирующих в художественной форме официальную политическую идеологию, как Вы, конечно, знаете, сегодня очень мало, и в профессиональном отношении они откровенно плохи. Это объясняется не только тем, что такие вещи некому создавать, но, несомненно, также тем, что они в сущности, сколь бы парадоксальным это ни казалось, не особенно приветствуются. Ведь с точки зрения

реальной нынешней концепции жизни, то есть концепции потребительской, подобные произведения, если бы они появлялись, были профессионально добротны и если бы их хоть кто-нибудь читал, излишне обращали бы внимание публики «вовне», излишне бередили бы старые раны, своим политизированным характером вызвали бы излишне широкую и радикальную политическую реакцию и тем самым мутили воду, которая должна оставаться стоячей. Истинным интересам нынешней власти в гораздо большей степени отвечает то, что я назвал «эстетикой банальности». Ведь она куда более незаметным, приемлемым и достоверным образом расходится с правдой, куда легче усваивается общественным сознанием и в результате намного лучше выполняет задачу, которую ставит перед культурой потребительская концепция жизни: не волновать истиной и успокаивать ложью.

Творчество такого типа, разумеется, всегда преобладало. До сих пор, однако, у нас были хотя бы щелки, через которые к публике проникало и творчество, о каком можно было сказать, что оно так или иначе способствует более аутентичному человеческому самопознанию. Такому творчеству всегда было нелегко: с ним боролись не только власти, но также инерционное, склонное к комфорту общественное сознание. Тем не менее до сих пор оно загадочным способом, извилистыми путями и почти всегда не сразу все же доходило до человека и общества и выполняло присущую культуре роль общественного самоосознания.

Речь не идет о чем-то большем, но именно это кажется мне самым важным. И именно это нынешнее руководство — как можно доказать, впервые со времен нашего национального возрождения — сумело почти полностью уничтожить: настолько отлажена сегодня система бюрократического манипулирования культурой, настолько хорошо известны все щелки, сквозь которые могли бы пробиться сколько-нибудь значимые произведения, настолько сильно боится власти и искусства та кучка людей, которая держит в своих карманах ключи от всех дверей.

Вы, конечно, понимаете, что в данный момент я говорю уже не о многостраничных списках деятелей культуры, полностью или частично запрещенных, но о куда худшем «бланковом списке», в который априорно включено все, что могло бы выделиться из общей массы подлинной мыслью, глубоким уровнем познания, высокой степенью искренности, оригинальной идеей, впечатляющей формой. Я говорю о заранее выданном ордере на арест всего внутренне свободного и, следовательно, в самом глубоком смысле слова культурного. Об ордере на арест культуры, который выписало Ваше правительство.

Это опять-таки вызывает вопрос, которым я задаюсь здесь чуть ли не с самого начала: что это все — на деле — означает? К чему ведет? Что это, так сказать, сотворит с обществом? Приведу еще один пример. Как известно, у нас перестало выходить большинство прежних посвященных культуре журналов; если какие и остались, то их так «причесали», что о них почти не стоит и упоминать.

Что в результате этого произошло?

На первый взгляд — ничего: общество функционирует и без всех этих литературных, искусствоведческих, театральных, философских, исторических и других журналов, число которых даже в тот период, пока они издавались, не отвечало латентным потребностям общества, но которые все же существовали и играли свою роль. Скольким людям этих журналов сегодня не хватает? Нескольким десяткам тысяч их подписчиков, то есть весьма малой части общества.

Тем не менее речь идет о потере несравненно более значительной, чем оно могло бы показаться с чисто количественной точки зрения. Фактические масштабы этой потери, однако, остаются опять же скрытыми, и их едва ли можно измерить в каких-либо точных цифрах.

Насильственная ликвидация подобного журнала, посвященного, скажем, проблемам театра, — это не просто обеднение его конкретных читателей и не просто акт грубого произвола, направленный против театральной культуры. В то же время — и прежде всего — это ликвидация некоторого органа самоосознания общества, и потому она представляет собой некое плохо поддающееся описанию вмешательство в сложный круговорот и взаимный обмен питательных соков, поддерживающих тот многослойный организм, каким является современное общество; удар по естественной динамике процессов, протекающих в этом обществе; нарушение взвешенного взаимодействия разнообразных его функций, отвечающего достигнутой обществом ступени внутренней структурированности. И точно так же, как длительная нехватка того или иного витамина, с количественной точки зрения составляющего в массе человеческой пищи ничтожную долю, может тем не менее вызвать заболевание, так и потеря одного журнала в конце концов в далекой перспективе может причинить общественному организму куда больший ущерб, чем кажется поначалу. Тем более когда речь идет не об одном журнале, а почти обо всех.

Можно без труда показать, что истинное значение познания, мышления и творчества в многослойном мире культурного общества никогда полностью не исчерпывается тем значением, какое имеют эти ценности для круга физических лиц, которые — в первом приближении, первоначально, «физически» — с ними связаны, активно или пассивно. Этот круг почти всегда узок, в науке в еще большей степени, чем в искусстве, и все же познание, о котором я веду речь, может в конечном итоге, пусть весьма опосредованно, затронуть все общество. Примерно так, как каждого из нас прямо-таки «физически» касается политика, обусловленная атомной угрозой, хотя большинство из нас «физически» не соприкасались с открытиями теоретической физики, которые привели к созданию атомной бомбы. То, что так же обстоит дело и в области гуманитарного познания, история подтверждает множеством примеров небывалого культурного, политического и нравственного подъема общества, изначальным ядром или катализатором

которого был акт общественного самоосознания, не только совершенный, но и непосредственно («физически») воспринятый довольно узким кругом исключительных личностей. Этот акт даже мог позднее остаться за рамками восприятия общества как целого — и тем не менее он был неперенным условием его подъема! Мы не можем знать, когда не приметная искра познания, появившаяся в нескольких клеточках, специализирующихся на самоосознании организма, вдруг озарит путь всему обществу; возможно, и само оно никогда не поймет, как случилось, что оно вступило на этот путь. Мало того: даже те бесчисленные вспышки познания, которым не суждено озарить путь обществу, имеют свой глубокий общественный смысл, хотя бы он заключался лишь в том, что эти вспышки вообще были, что и они уже самим фактом своего появления стали реализацией определенного круга общественных возможностей (идет ли речь о творческих силах или просто о свободах), что и они формируют и обеспечивают культурный климат, необходимый для возникновения более значимых вспышек. Короче, пространство духовного самоосознания неделимо; перерезав одну нить, мы с неизбежностью разрушим всю сеть, и уже это доказывает особую взаимосвязанность всех тонких процессов в организме общества, о которой я говорил, несамодовлеющее значение каждого из них, а значит, и пагубность нарушения их связей.

Я не хочу сводить все к одному этому аспекту, к тому же довольно тривиальному. Тем не менее: не свидетельствует ли это о пагубном влиянии на общее духовное и нравственное состояние общества, какое имеет и, главное, еще будет иметь упомянутый «ордер на арест культуры», пусть даже его прямой удар приходится на ограниченное число голов?

Если в последние годы на прилавках книжных магазинов не появилось ни одного нового чешского романа, который бы явным образом расширил кругозор нашего опыта, то это, конечно, не будет иметь никаких внешних последствий — читатели из-за этого не выйдут на демонстрации и в конце концов найдут, что почитать. Но кто может оценить, что реально означает этот факт для чешского общества? Кто знает, как эта лакуна скажется на духовном и нравственном климате будущих лет? Насколько она ослабит нашу способность осознать самих себя? Насколько такое отсутствие культурного самопознания отразится на тех, для кого этот процесс начинается сегодня или начнется завтра? Сколько мистификаций, постепенно оседающих в общем культурном сознании, потребует развеять и к чему при этом придется вернуться? Кто знает, кто, когда, как и откуда сможет почерпнуть силы, чтобы высечь новую искру правды, если так неумолимо исчезает не просто возможность, но и ощущение возможности этого?

Несколько таких романов, какие отсутствуют в книжных магазинах, все же имеется — они ходят в списках. В данном смысле ситуация еще не столь безнадежна. Из сказанного мною выше вытекает, что даже если подобный роман за долгие годы прочтет не больше двадцати человек, само его существование играет свою роль: уже то, что такая книга есть, что она могла быть написана и живет хотя бы в узком слое культурного сознания, кое-что значит. Но как обстоит дело в областях, где невозможно работать иначе, нежели на уровне так называемых легальных структур? Как определить реальный размер ущерба, какой нанесло и еще нанесет удушение многообещающих течений в сфере театра и кино — видов искусства, имеющих особое социально-будоражающее значение? И к чему в далекой перспективе может привести вакуум, образующийся в области гуманитарных наук, теории и практики профессиональной общественно-научной эссеистики? Кто осмелится оценить последствия того, что были насильственно прерваны разнообразные длительные процессы самоосознания на онтологическом, этическом и историческом уровнях, которые так сильно зависят от доступности материалов для изучения и от возможности периодического публичного обмена мнениями, и вообще насильственного прекращения сколько-нибудь естественного обмена информацией, идеями, знаниями, ценностями и какого бы то ни было общественного формирования взглядов?

Общий вопрос, следовательно, таков: к сколь глубокой духовной и нравственной импотенции нации приведет завтра нынешняя кастрация его культуры?

Боюсь, что пагубные общественные последствия этого надолго переживут конкретные политические интересы, которые их вызвали к жизни. Тем большей будет вина тех, кто принес духовное будущее нации в жертву властным интересам собственного настоящего.

Если главный закон вселенной — это закон возрастания энтропии*, то главным законом жизни является, наоборот, возрастание структурированности и сопротивление энтропии. Жизнь борется с любой стандартностью и единообразием; ее перспектива — не в унификации, а в дифференциации; это беспокойство трансцендентного, приключение нового, отрицание «статуса-кво»; основополагающий параметр ее развития — это все время воплощающаяся тайна.

* С помощью закона энтропии было сформулировано второе начало термодинамики — закон, выражающий направление изменений энергии. В изолированной системе в результате изменений энергии постепенно исчерпывается способность к дальнейшим изменениям; пониженная энергия, не способная к превращению в другую энергию, накапливается до тех пор, пока энтропия не достигнет максимума — состояния теплового равновесия. В середине XX в. теория информации распространила это понятие на все дисциплины, подразумевая под ним меру (не)определенности и (не)упорядоченности системы. («Краткий философский словарь»).

В основе же государственной власти, цели которой сводятся к защите собственной несменяемости путем насильственного принуждения к единству и постоянному согласию с ней, лежат, напротив, глубокая подозрительность к любому различию, ко всему уникальному и трансцендентному, глубокое отвращение к неизвестному, неуловимому, ко всякому воплощению тайны, тяга к стандартности, единообразию и неподвижности, любовь к «статусу-кво». Дух автоматизма в ней берет верх над духом жизни. Ее стремление к порядку — это не открытый поиск все более высоких форм самоорганизации общества, адекватных его все возрастающей структурированности, а наоборот, сползание в то «наиболее вероятное состояние», которое представляет наибольшую энтропию. Двигаясь по пути энтропии, такая власть идет против течения жизни.

Как известно, и в жизни человека настает момент, когда мера его структурированности вдруг начинает снижаться и он вступает на путь энтропии. Это момент, когда и он подчиняется общему закону вселенной: момент смерти.

В самой сути власти, которая движется по пути энтропии (и с удовольствием уподобила бы человека компьютеру, куда можно ввести любую программу с уверенностью, что она будет выполнена), таким образом, заложен принцип смерти. Смертью дышит и идея «порядка», проводимая такой властью, с точки зрения которой каждое проявление подлинной жизни — яркий поступок, самобытное слово, оригинальная мысль, неординарное увлечение или вдохновение — есть признак «смуты», «хаоса», «анархии».

Так и существующий у нас режим всей своей практикой, главные аспекты которой я старался один за другим описать, подтверждает, что идеи «спокойствия», «порядка», «консолидации», «выхода из кризиса», «прекращения разлада», «усмирения страстей» и т.д., бывшие с самого начала базой его политической программы, в конечном итоге наполнены для него тем же мертвящим содержанием, что и для всех «энтропических» режимов.

Да, у нас воцарился порядок: бюрократический порядок серой стандартности, искореняющей всякое своеобразие, механического автоматизма, подавляющего все неповторимое, затхлой неподвижности, исключаяющей все трансцендентальное. Это порядок, лишенный жизни.

Да, в нашей стране спокойно: не так ли, как в морге или в могиле?

В подлинно живом обществе все время происходят какие-нибудь события. Взаимопереплетение человеческих поступков и общественных явлений, явных и подспудных течений создает все новые неповторимые ситуации, вызывающие к очередным поступкам и порождающие новые течения. Таинственная жизненная борьба постоянного и переменного, закономерного и случайного, предсказуемого и неожиданного развертывается во времени и выявляется в событиях. Чем более структурирована при этом общественная жизнь, тем более структурировано и время: в нем усиливается элемент исключительности, неповторимости. Это, в свою очередь, дает тем большую возможность воспринимать его в последовательности, как необратимую смену не повторяющихся ситуаций, а соответственно, лучше понимать закономерности происходящих в обществе событий. Таким образом, чем богаче жизнь общества, тем лучше оно осознает свое время, его историю.

Иными словами: там, где есть простор для общественной жизни, открывается также простор для общественной памяти. Общество, которое живет, имеет историю.

Если, однако, преемственность и причинные связи в истории так тесно связаны с элементом неповторимости, непредсказуемости, возникает вопрос, как истинная история — этот неиссякаемый источник «хаоса» и беспокойства, дерзкий вызов порядку — может существовать в мире, где господствует «энтропический» режим.

Ответ ясен: не может. И, по крайней мере во внешних формах, не существует — в результате искоренения жизни как таковой в подобном мире останавливается время, и история исчезает с его горизонта.

Так и у нас с некоторых пор как будто нет истории: мы медленно, но верно утрачиваем понятие о времени, забываем, что когда было, что было раньше, а что позже, что вообще было, и внутри нас нарастает чувство, что это, собственно, неважно. Общественная жизнь теряет неповторимость, а тем самым и преемственность; все сливается в одну серую картину одного и того же коловращения, и мы говорим, что «ничего не происходит». Мертвящий порядок был привнесен и сюда: общественная жизнь полностью упорядочена, а следовательно, мертва. При этом кризис чувства преемственности времени на уровне общества с неизбежностью приводит к подобному же кризису в частной жизни. Теряя осознание истории общества, а соответственно и роли личности в этой истории, частная жизнь возвращается к доисторической ступени, когда ритм времени задают уже лишь такие события, как рождение, свадьба или смерть.

Кризис чувства времени вообще как бы ввергает общество обратно в доисторическую эпоху, когда в течение многих тысячелетий человечество в своем осознании времени не выходило за рамки космо-метеорологического стереотипа бесконечно повторяющихся времен года и связанных с ними религиозных обрядов.

Лакуна, которую оставил покинувший нас будоражающий историзм, конечно, должна была заполниться, поэтому беспорядок в подлинной истории сменил порядок псевдоистории, творцом которого является, однако, не жизнь общества, а планирующий его чиновник. Вместо событий нам предлагают псевдособытия; мы живем от годовщины к годовщине, от торжества к торжеству, от парада к

параду, от единодушно одобряемого всеми съезда к единогласным выборам и от единогласных выборов к единодушно одобряемому всеми съезду, от Дня печати к Дню артиллерии и наоборот. Не случайно, что такой эрзац истории позволяет нам получить исчерпывающее представление об «общественной жизни» — не только в прошлом, но и в будущем! — простым перелистыванием календаря. И благодаря тому, что содержание повторяющихся ритуалов общеизвестно, полученная таким образом информация может даже сравниться с той, какую дало бы нам подлинное сопереживание.

Итак, опять-таки: полный порядок — однако ценой возврата к доисторическим временам, при этом с одной оговоркой: если для наших предков повторяющиеся обряды вновь и вновь получали глубокий экзистенциальный смысл, для нас они уже являются лишь самодовлеющей рутинной; власть держится за них ради иллюзии исторической динамики, а люди проходят эти обряды во избежание неприятностей.

«Энтропический» режим имеет единственную возможность повысить в сфере своего влияния общую энтропию: укрепляя собственный централизм, становясь все монолитнее, все туже затягивая на обществе смирительную рубашку одномерного манипулирования. Однако каждый очередной шаг этого режима с неизбежностью ведет к дальнейшему возрастанию его собственной энтропии: в стремлении сделать мир неподвижным он делает неподвижным сам себя и подрывает собственную способность противостоять чему угодно новому и даже самому течению жизни. «Энтропический» режим, таким образом, по сути своей обречен стать в конце концов жертвой собственного мертвящего принципа, причем самой уязвимой ввиду полного отсутствия какого-либо внутреннего стремления, так сказать, противостоять себе самому. Напротив, жизнь тем успешнее и изобретательнее — в силу ее неодолимого противодействия энтропии — борется с чинимым над ней насилием, чем быстрее окостеневает творящая это насилие власть.

Таким образом, губя жизнь, власть губит и себя саму — то есть в конце концов и свою способность губить жизнь.

Иными словами: жизнь можно долго и основательно корежить и искоренять, но навсегда ее не остановить. Пускай тихо, втайне и постепенно, но она идет вперед; хоть тысячу раз отчужденная сама от себя, она неизменно тем или иным образом возвращается к себе; пускай даже подвергшись самому ужасному насилию, она в конце концов переживет власть, которая чинила это насилие. Иначе и быть не может — ввиду глубоко компромиссного характера каждой «энтропической» власти, которая может подавлять жизнь лишь тогда, когда она есть, и которая всем своим существом нуждается в жизни, в то время как жизнь в ней — нет. Единственная сила, действительно способная уничтожить жизнь на нашей планете, — это сила, не знающая компромисса: всеобщее космическое действие второго начала термодинамики.

Если нельзя полностью уничтожить жизнь, то нельзя также навсегда остановить ход истории. Под тяжелой плитой неподвижности и псевдособытий бьет ее потаенный источник и постепенно, незаметно «размывает» эту плиту. Процесс может затянуться надолго, но в один прекрасный день это должно случиться: плита, уже не в силах сопротивляться, начнет давать трещины.

И это момент, когда опять начнут происходить видимые события, подлинно новые и неповторимые; события, не запланированные в официальном календаре «общественной жизни», в связи с которыми мы уже не испытываем чувства, что нам все равно, когда они происходят и происходят ли вообще. События истинно исторические в том смысле, что ими вновь заявляет о себе история.

Но как может в наших конкретных условиях заявить о себе история? Что конкретно значит для нас такая перспектива?

Я не историк и не пророк, и все же я не могу не высказать некоторых своих суждений.

Там, где существует — хотя бы до известной степени — открытая борьба за власть, как единственная реальная гарантия общественного контроля за властью (и в конце концов также свободы слова), власти, хотя бы этого или нет, вынуждены постоянно поддерживать своего рода диалог с жизнью общества, решая по ходу дела разнообразные вопросы, которые она перед ними ставит. Там же, где открытая борьба за власть отсутствует (и где с неизбежностью раньше или позже подавляется также свобода слова), что имеет место при каждом «энтропическом» режиме, там власти не адаптируются к жизни, а стараются приспособить жизнь к себе, то есть вместо того чтобы разбираться по ходу дела с ее реальными противоречиями, требованиями и проблемами, они попросту делают вид, что их нет. И все же эти противоречия и требования существуют, хотя и под спудом, накапливаются, нарастают — и однажды, когда спуд уже не может их удержать, вырываются наружу. И это именно тот момент, когда плита неподвижности дает трещину и на сцену вновь выходит история.

Что же тогда происходит?

Хотя власти еще достаточно сильны для того, чтобы воспрепятствовать реализации давления жизненных противоречий в форме открытой дискуссии и открытой борьбы за власть, у них уже не хватает сил до конца противиться этому давлению. Поэтому жизнь врывается туда, куда может: в скрытые кулуары власти, где вызывает скрытую дискуссию и в конце концов скрытую борьбу за власть. К этому власти не готовы — сколько-нибудь серьезный диалог с жизнью выше их способностей. Поэтому они впадают в панику: жизнь в их кабинетах сеет смуту и расставляет ловушки в виде личных конфликтов, интриг и соперничества и даже, если можно так выразиться, накладывает печать на отдельных их представителей: мертвая маска безликости, которая помогала функционерам отождествлять себя с

монолитной властью, вдруг спадает, и из-под нее выглядывают живые люди, вполне «по-человечески» борющиеся за власть и друг с другом ради собственного самосохранения. Это знакомый момент дворцовых переворотов и путчей, внезапной и с трудом объяснимой смены людей на их постах и фраз в публичных выступлениях, раскрытия настоящих или выдуманных заговоров и тайных центров, обнародования истинных или мнимых преступлений и раскапывания давних провинностей, изгнания из различных властных органов, поливания друг друга грязью, а иногда также арестов и судебных процессов. И если до сих пор все носители власти говорили на одном языке, одними и теми же фразами, об одних и тех же задачах и их успешном выполнении, то теперь вдруг этот монолитный блок власти распадается на отличимые друг от друга личности, которые хотя и продолжают говорить на одном языке, но используют его для взаимных обвинений. И вот мы с удивлением слышим, что некоторым из них (тем, что проиграла скрытую борьбу за власть) провозглашаемые задачи были в действительности безразличны и они их отнюдь не выполняли, тогда как другим (тем, что выиграла) эти задачи по-настоящему дороги и только они способны их успешно выполнять.

Итак, чем рациональнее выстраивался годами упомянутый официальный календарь псевдособытий, тем иррациональнее происходит внезапное вторжение подлинной истории. Вся ее годами подавляемая неповторимость, исключительность, непредсказуемость, тайна прорывается в одночасье, и если мы годами не удивлялись ничему мелкому, повседневному, то теперь нас ждет одна большая неожиданность — но это того стоит. Вдруг рвется наружу вся «беспорядочность» истории, которая годами подавлялась искусственным порядком.

Разве нам это незнакомо? Разве мы многократно не были свидетелями подобного в нашей части света? Машина, которая годами вроде бы работала без сбоев, за одну ночь разваливается, и система, которая, казалось, будет в неизменном виде господствовать до скончания веков, ибо в атмосфере единодушных выборов и единодушного голосования не существует силы, способной противостоять ей, вдруг ломается. И мы с удивлением обнаруживаем, что все было совсем не так, как мы думали.

Момент, когда такой ураган пронесется над затхлым миром стабильных властных структур, для всех нас, находящихся вне власти, впрочем, отнюдь не забавен. Пускай косвенно, но он всегда в конце концов затрагивает и нас. Ибо не незаметное ли и длительное воздействие все время подавляемых, однако не могущих быть до конца подавленными общественных потребностей, интересов, противоречий всякий раз вызывает эти потрясения власти? И стоит ли удивляться, что общество в такие моменты пробуждается, связывает с ними свои чаяния, обостренно воспринимает их, испытывает на себе их влияние и старается ими воспользоваться! Эти потрясения почти всегда пробуждают какие-то надежды или опасения, почти всегда открывают, истинно или мнимо, простор для новой реализации различных сил и направлений жизни, почти всегда ускоряют различные течения в обществе.

Все это, однако, почти всегда сопряжено — вследствие глубоко противоестественного характера таких форм взаимодействия с жизнью, каковыми являются внезапные потрясения власти, — с большим и заранее не предсказуемым риском.

Попытаюсь подробнее обрисовать один тип такого риска.

Если человек изо дня в день молча подчиняется бездарному руководителю, если он изо дня в день с серьезной миной участвует в обрядах, которые ему на самом деле смешны, если он без смущения пишет в анкетах совсем не то, что думает, и готов публично отречься от самого себя, если он без труда изображает симпатию или даже любовь к тому, что ему на самом деле безразлично или противно, все это еще отнюдь не значит, что в нем совершенно увяло одно из главных человеческих чувств: чувство унижения.

Наоборот, хотя об этом никто и не говорит, люди отчетливо ощущают, что цена их внешнего спокойствия — это постоянное унижение их человеческого достоинства. При этом чем менее они сопротивляются напрямую такому унижению — помогает ли им в этом способность изгнать это чувство из своего сознания и внушить себе, что ничего особенного не происходит, или просто способность стиснуть зубы — тем глубже оно внедряется в их эмоциональную память. Тот, кто в силах противиться своему унижению, быстро о нем забывает; кто же, наоборот, его долго молча терпит, так же долго его помнит. Поэтому в действительности ничто не забывается: весь пережитый страх, все вынужденное лицемерие, все тягостное и недостойное кривляние и, может быть, более всего остального ощущение проявленной трусости — все это оседает и накапливается где-то на дне общественного сознания и потихоньку делает свое дело.

Это, конечно, нездоровое положение. Нарывы вовремя не вскрываются и продолжают гноиться, гной не выходит наружу и отравляет весь организм; естественное человеческое чувство долго не может объективироваться, и длительное заточение в клетках эмоциональной памяти постепенно превращает его в нечто нездоровое, спазматическое, ядовитое — как в результате неполного сгорания образуется углекислый газ.

Удивительно ли, что в тот момент, когда плита дает трещину и лава жизни вырывается наружу, в ней, наряду с разумным желанием исправить прежние несправедливости, стремлением к правде и к переменам, отвечающим жизненным потребностям, встречаются и желчная ненависть, мстительная злоба и лихорадочная жажда получить немедленное удовлетворение за все пережитые унижения! (Безрассудный и часто не адекватный ситуации характер этих устремлений в значительной мере бывает обусловлен смутным

чувством, что эта вспышка уже запоздала, что она уже бессмысленна, так как уже неактуален ее импульс и риск, с нею связанный, и что это по сути дела лишь подмена того, что должно было произойти совсем в другое время.)

Удивительно ли, что представители власти, за долгие годы привыкшие к абсолютному согласию, единодушной и безоговорочной поддержке и полному единству всеобщего лицемерия, оказываются в такой момент настолько потрясены всплеском ранее подавляемого чувства, видят в происходящем столь небывалую угрозу для себя и для всего мира (поскольку они — единственные гаранты его существования), что для спасения самих себя и мира без колебаний призывают на помощь многомиллионные чужие армии!

Один такой взрыв мы недавно пережили. Те, которые годами унижали и оскорбляли человека, а когда этот человек возвысил голос, были крайне шокированы этим, сегодня называют то время периодом «разгула страстей». Но какие же страсти тогда разгулялись? Кто знает, какие длительные и глубокие унижения предшествовали этому «разгулу», и осознает социально-психологический механизм последующей реакции на такое унижение, должен скорее поражаться тому, каким относительно спокойным, деловым и даже лояльным был этот «разгул». Тем не менее за этот «момент истины» нам, как известно, пришлось дорого заплатить.

Нынешняя власть глубоко отлична от своей предшественницы, которая существовала в период того взрыва. Не только потому, что та была, так сказать, «оригиналом», а эта является лишь его формализованной имитацией, неспособной понять, до какой степени «оригинал» был со временем демистифицирован, но прежде всего потому, что если прежняя власть имела реальную и весьма значительную социальную опору: доверие (хотя и постепенно падающее) части населения, и на ее стороне была реальная и немалая (хотя постепенно блекнущая) привлекательность обещанных когда-то социальных перспектив, то опорой нынешней власти выступает уже исключительно инстинкт самосохранения правящего меньшинства и страх управляемого большинства.

Ввиду этого трудно представить себе все возможные альтернативы будущего «момента истины», то есть то, в какой именно форме столь глобальное и откровенное унижение всего общества однажды потребует удовлетворения. И уж совершенно нельзя предвидеть размер и глубину трагических последствий, какие этот момент может иметь — и скорее всего будет иметь — для наших народов.

В этой связи нельзя не поразиться тому, насколько не способна власть, выдающая себя за самую «научную» из всех, которые когда-либо существовали, понять элементарные законы своего собственного функционирования и извлечь уроки из своей собственной истории.

Как ясно из предыдущего, у меня нет опасений, что с приходом к власти нынешнего руководства в Чехословакии замерла жизнь и раз и навсегда остановилась история. До сих пор в истории каждая очередная ситуация и эпоха сменялись другой ситуацией и другой эпохой, и эти последние — на благо ли человеку или во вред ему — неизменно оказывались далеки от тех представлений о будущем, какие имели организаторы и правители предшествующей эпохи.

Я опасаясь другого. Собственно, все это письмо говорит о том, чего именно я опасаясь: бессмысленно суровых и долговременных последствий, какие будет иметь нынешнее насилие для наших народов. Я боюсь того, какую цену всем нам придется заплатить за это безжалостное подавление истории, жестокое и бесполезное заталкивание жизни куда-то в подвалы общества и человеческих душ, за очередную попытку насильственно воспрепятствовать обществу жить мало-мальски естественной жизнью. При этом, как, надеюсь, ясно из того, что я только что написал, речь идет не только о цене, которую мы все время платим в валюте ежедневной горечи унижения человека и насилия над обществом, и не только о той большой дани, которую нам придется заплатить в виде длительного духовного и нравственного упадка общества, но и о трудно исчислимой сегодня цене того момента, когда вновь вступят в свои права жизнь и история.

Ответственность руководящего политика за ситуацию в стране бывает различна, и при этом она никогда не абсолютна. Никто не правит в одиночку, так что определенную долю ответственности несут и те, кто такого политика окружает. Ни одна страна не существует в вакууме, а следовательно, на ее политику всегда тем или иным образом влияет также политика других стран. Разумеется, за многое всегда ответственны и те, кто правил прежде и чья политика предопределила нынешнее положение страны. Наконец, за многое в ответе и граждане, каждый из них сам по себе, как полноправная личность, своими ежедневными решениями влияющая на общее состояние, и все вместе как некое социально-историческое целое, определяемое условиями, в которых оно развивается, но и в свою очередь определяющее эти условия.

При всех этих ограничениях, которые, естественно, применимы и к нашей современной ситуации, Ваша ответственность как руководящего политика все же велика: вместе с другими Вы формируете климат, в котором всем нам суждено жить, и тем самым оказываете прямое влияние также на конечный размер той цены, какую придется заплатить нашему обществу за свою нынешнюю «консолидацию».

В чехах и словаках, как и в любом народе, имеются различные задатки: у нас были, есть и будут герои, и точно так же у нас были, есть и будут предатели и доносчики. Мы способны развивать свои творческие силы и фантазию, подняться духовно и нравственно до небывалых свершений, бороться за правду и жертвовать собой ради других, но точно так же мы способны впасть в полное равнодушие, не

заботиться ни о чем, кроме собственных желудков, и ставить друг другу подножки. И хотя человеческие души — не бутылки, в которые любой может налить что угодно (это высокомерное представление о народе часто встречается в официальных речах, когда звучит страшная фраза о том, что то или иное «внедряется в сознание людей»), тем не менее от руководителей во многом зависит, какие из противоположных предрасположений, дремлющих в обществе, будут мобилизованы, каким из этих возможностей будет дан шанс проявиться, а какие, наоборот, будут подавлены.

Пока систематически активизируется и развивается худшее в нас: эгоизм, лицемерие, равнодушие, трусость, страх, безразличие, желание выйти сухим из воды, невзирая на последствия этого для общества.

При этом нынешнее руководство государства имеет возможность воздействовать своей политикой на общество так, чтобы дать шанс не худшему, а наоборот, лучшему в нас.

На данный момент вы выбрали самый удобный для себя и самый опасный для общества путь, то есть путь внешней видимости ценой внутреннего упадка, путь возрастания энтропии ценой истребления жизни, путь защиты своей власти ценой углубления духовного и нравственного кризиса общества и систематического унижения человеческого достоинства.

А ведь даже при всех ваших ограничениях у вас есть возможность сделать многое для пусть даже относительного улучшения ситуации. Этот путь, возможно, труднее и не такой благодарный, он не сразу привел бы к видимым результатам и кое у кого встретил бы сопротивление, но с точки зрения действительных интересов и перспектив нашего общества он был бы, несомненно, разумнее.

Как гражданин этой страны я открыто и публично призываю этим письмом Вас и всех остальных руководящих представителей нынешнего режима обратить внимание на явления и взаимосвязи, которые я Вам попытался показать, чтобы в свете этого оценить меру своей исторической ответственности и действовать сообразно ей.

Вацлав Гавел

8 апреля 1975 г.

Об истоках «Хартии-77»

После советского вторжения в ЧССР в 1968 году и прихода к власти руководства во главе с Гусаком в нашем обществе наступил длительный период всеобщей депрессии, апатии, усталости и отчаяния. Конечно, и в этот период находились люди, пытавшиеся сопротивляться тоталитарному режиму, который у нас установился. В начале 70-х годов был проведен целый ряд политических процессов над ними. Ни их усилия, ни судебные процессы, правда, не вызвали в нашем обществе и в мире такого резонанса, которого они заслуживали. Однако именно эти попытки людей, не ушедших в тень и старавшихся спасти остаток надежды, какие предпринимались у нас в 1968 году, явились первоистоками «Хартии-77».

В середине 70-х годов определенные слои нашего общества, в первую очередь интеллектуалы, вновь попытались создать некие формы самостоятельного и независимого мышления. В это время возникла, например, известная «самиздатовская» серия чешской художественной литературы «Петлице»⁵, сегодня насчитывающая уже не менее ста семидесяти наименований. Тогда же зародились и другие культурные инициативы, ограниченные, впрочем, узким кругом людей и имевшие, я бы сказал, локальный характер. До сих пор отсутствовали какие-либо попытки объединиться, действовать сообща, достичь взаимной солидарности отдельных изолированных групп и группок, каждая из которых, культивируя свободу мысли и духа и занимаясь тем самым своего рода политической работой, шла своим независимым путем.

Любопытно, что первым ярким импульсом к преодолению взаимной изолированности всех этих группок и инициатив, какие у нас существовали, начиная с 1973—1974 годов, стал известный судебный процесс над рок-группой «The Plastic People of the Universe». Попробую объяснить, почему я считаю, что именно этот процесс сыграл объединяющую роль и предопределил очередной решительный шаг в чешском духовном развитии.

Подобное случилось не впервые. С 50-х годов известны аналогичные случаи, когда ключевым моментом, приводящим вдруг в движение все общество, оказывался не момент конфронтации с поверженными противниками, то есть с теми, кто в предшествующий период был вытеснен из общественной жизни, а тот момент, когда установившийся режим вступал в противоречие с новым поколением, с молодыми людьми без политического прошлого, без собственной политической биографии. Этот ключевой момент наступает тогда, когда молодежь, начало духовного формирования которой пришлось уже на эпоху нового режима, приходит в противоречие с ним.

Именно такой ключевой момент настал, когда было возбуждено уголовное дело против рок-группы «The Plastic People» и ее сподвижников.

Группа «The Plastic People of the Universe» восходит своими корнями к концу 60-х годов. Она возникла после того, как прекратила свое существование «The Primitive Group», но особенно активна стала только в начале 70-х. Ввиду ее нон-конформизма ей вскоре запретили публичные концерты, поэтому она выступала частным образом, на свадьбах и других торжествах ее друзей. Имея довольно широкий круг поклонников, она долго оставалась единственной рок-группой, члены которой играли поистине свою, свободную и независимую музыку, какая была им по душе и верно отражала настроения молодых людей. Эту группу и то движение, которое вокруг нее возникло, ее духовный лидер Иван Ироус назвал чешским музыкальным андерграундом.

Весной 1976 года эта группа вступила в конфликт с властью. Человек девятнадцать музыкантов и поклонников группы были арестованы, и против них возбудили уголовное дело. В это время в нашей стране уже существовали различные группы *диссидентов*, как это называют на Западе (мы это название не очень любим, что, впрочем, к делу не относится), которые образовали люди, активные в 1968 году и после прихода к власти гусаковского руководства ставшие мишенью непрекращающихся нападок официальной пропаганды и полиции.

Между этими диссидентами и движением молодых музыкантов, на которых весной 1976 года режим обрушил такой жестокий удар, до той поры не было никаких контактов. Но именно в то время, когда этих молодых музыкантов и их поклонников подвергли столь суровым преследованиям и лишили свободы, ситуация начала меняться. Последовал любопытнейший процесс, когда разнообразные и до сих пор изолированные группы вдруг стали осознавать, что свобода неделима, что удар по молодым и мало кому известным музыкантам есть «показательный» удар по всем тем в нашем государстве, кто еще не смирился и не покорился власти, что остальных — писателей, политиков и прочих — защищает лишь их относительная известность, а этих молодых людей арестовали только потому, что они малоизвестны, в надежде, что их арест не вызовет сколько-нибудь заметного отклика как внутри страны, так и за ее пределами.

В тот момент упомянутые изолированные группы и инициативы поняли, что удар по музыкантам — это удар по всем, по самому главному, по попытке искренне самовыражаться и жить по правде, а потому они должны вступить за этих молодых музыкантов.

Мне посчастливилось наблюдать за этим процессом самым непосредственным образом, так как я организовывал различные протесты по делу «The Plastic People of the Universe», составлял петиции, собирал подписи. Таким образом, я имел возможность собственными глазами следить за процессом подобного

⁵ «Петлице» — букв. *засов* (частности, в тюремной камере).

прозрения; например, я был свидетелем того, как профессор Паточка⁶ внезапно осознал, что свобода его феноменологических исследований есть также свобода этой рок-группы, чья музыка ему, само собой, не была и не могла быть сколько-нибудь близка. И я видел, как это же начинали осознавать самые разные писатели, политики и т.д.

Случилось нечто, чего режим не ожидал. Режим надеялся, не привлекая особого внимания, осудить нескольких длинноволосых скандалистов и тем самым закрыть дело, чтобы обезопасить себя от возможных последствий широкого резонанса этой рок-группы среди молодого поколения. И вдруг выступают люди, от которых каких-либо симпатий к этим молодым музыкантам никто не ждал.

Не буду описывать все перипетии их преследования. Круг обвиняемых все сужался, режим явно готов был идти на уступки. В конце концов состоялся суд. Он вылился в политический скандал, стал событием, которого режим ни в коей мере не хотел допустить и тем не менее вынужден был пройти через это. В кулуарах здания суда, где в итоге был произнесен приговор над четырьмя главными представителями этого течения в музыке, по существу вырисовывался прообраз «Хартии-77». Там сошлись самые разные люди: двадцатилетние длинноволосые юноши, бывшие члены президиума КПЧ, ведущие теоретики искусства, критики, профессора, писатели и многие другие — сплошь духовная опора возникшей несколько позже «Хартии-77».

Дальше все развивалось чуть ли не само собой. Мы провели три совместных встречи с представителями различных до сих пор изолированных объединений, ранее не общавшихся между собой групп бывших политиков (Иржи Гайек, Зденек Млинарж) и писателей (Людвик Вацулик, Павел Когоут, я сам) и с рядом других лиц. В ходе этих встреч был обозначен мировоззренческий спектр будущей «Хартии-77», от музыкального андерграунда через коммунистов вплоть до троцкистов, от различных писателей и авторов-одиночек до христиан, католиков или протестантов.

Разумеется, нельзя забыть еще об одном важном факторе: с осени 1976 года на ЧССР стали распространяться международные соглашения по правам человека, ратифицированные нашим парламентом. При этом с полной ясностью обнаружилось, что закрепленные в этих документах основные права человека суть как раз то, что объединяет все наши разнородные группки, то есть именно та — как говорят коммунисты — платформа, на которой все мы можем сойтись.

Так возникло первое заявление «Хартии-77», целью которого было соотнесение этих ратифицированных в ЧССР соглашений с тоталитарной действительностью у нас в стране. Однако когда мы собирали под нашим первым заявлением подписи и собирались передать их властям (при этом за нами по пятам шла полиция, и 6 января 1977 г. нас задержали), мы все еще не были уверены в том, что нам удастся создать прочную общность, готовую систематически продолжать такое сопоставление реальной ситуации в области прав человека и положений соответствующих международных пактов с позиций, естественных для непредубежденной человеческой мысли.

Тем большей радостью для всех нас — и неожиданностью для меня лично — по прошествии недели от первого публичного выступления «Хартии-77» до моего ареста в качестве одного из первых трех ее представителей стало то, что первые 250 поставивших свои подписи восприняли «Хартию» не как единоразовую акцию (хотя и этого было бы довольно), но именно так, как она задумывалась: как начало систематической работы. Ныне «Хартия-77» существует уже почти два с половиной года. За это время она обнародовала 24 документа, множество заявлений, протестов, писем, выступила в защиту большого количества людей. В рамках «Хартии» возник еще целый ряд инициатив, например, Комитет защиты противоправно преследуемых, Фонд гражданской поддержки и другие.

То, о чем мы вначале лишь мечтали, стало реальностью. Это суровая реальность. Не только потому, что мы каждый день сталкиваемся с полицией, что подписавшие «Хартию», по крайней мере самые активные из них, непрерывно подвергаются преследованиям. Наша реальность сурова также и потому, что такое замкнутое объединение, как «Хартия-77», неизбежно вновь и вновь задается вопросом о смысле своей деятельности, о том, не слишком ли оно оторвано от общества, не слишком ли радикально и отлично от остальной части общества, не идет ли неприемлемым для нее путем.

Таковы трудности нашей работы — но сколь бы огромны они ни были, «Хартия-77» существует, живет и действует, будучи тем, чем она хотела и призвана была быть с самого начала.

Уже одно это знаменует существенную перемену и великое событие в истории нашей страны последнего десятилетия.

⁶ Ян Паточка — выдающийся чешский философ и правозащитник; умер в 1977 г. после допроса по делу «Хартии-77».

Шесть заметок о культуре

/1/

Хотя я считаю подобное довольно-таки невероятным, теоретически нельзя исключить, что завтра мне придет в голову потрясающий сюжет и я за неделю напишу свою лучшую пьесу. Точно так же может статься, что я больше вообще ничего не напишу.

Но если один автор, уже далеко не начинающий, который, казалось бы, должен хотя бы примерно знать свои возможности и их пределы, почти не в силах предвидеть собственное литературное будущее, то как может кто-либо предсказать, что будет происходить в культуре вообще?

Если существует область, по самой своей сути исключая какие бы то ни было прогнозы, то это именно культура, в особенности искусство и гуманитарные науки. (В области естественных наук — наверное — хотя бы в общих чертах можно что-то предвидеть.)

Вероятностей, которые могут ожидать нашу культуру, неизмеримо много. Возможно, усилится полицейское давление, очередные деятели искусства и ученые отправятся в эмиграцию, множество прочих утратит интерес к чему бы то ни было и последние остатки воображения, и вся так называемая «вторая культура» постепенно отомрет, в то время как «первая» станет совсем стерильной. Возможно, что, наоборот, «вторая культура» вдруг неожиданно вырастет до небывалых размеров и форм на диво всему миру и к изумлению властей. Возможно, напротив того, станет лавинообразно пробуждаться «первая культура», в ней начнут вздыматься совершенно невероятные «новые волны» — а «вторая культура» тихо, незаметно и с удовольствием растает в ее тени. Возможно, на горизонте внезапно появятся самобытные творческие дарования и начинания, которые расцветут на совершенно новых просторах, где-то на границе двух прежних культур, так что обеим останется только с удивлением взирать на это. Возможно также, что ничего нового не возникнет и все будет по-прежнему: Дитл⁷ будет делать свои сериалы, а Вацулик⁸ — писать свои фельетоны. Перечень таких вероятностей можно продолжать сколь угодно долго, причем нет оснований считать какую-либо из них намного более правдоподобной, чем остальные.

Тайна будущего культуры отражает загадку самого человеческого духа.

Поэтому, хотя меня попросили поразмышлять о перспективах чехословацкой культуры, я не буду писать о перспективах, а ограничусь лишь несколькими — более или менее полемическими — заметками о ее настоящем. Если кто-нибудь сделает из этого какие-либо выводы в отношении будущего, то это его дело, и ответственность за это падет на его же голову.

/2/

В свое время кто-то образно назвал чехословацкую ситуацию «Биафрой духа»⁹. Позже многие авторы, и в их числе я сам, размышляя о том, что произошло в чехословацкой культуре после 1968 года, сравнивали ее с кладбищем.

Признаться, недавно, когда я где-то в очередной раз встретил это сравнение, что-то во мне против него восстало.

Во всяком случае было бы желательно — спустя столько лет — слегка конкретизировать область, к которой это сравнение относится.

Что касается действий властей в сфере культуры, то есть их так называемой «культурной политики», оно, несомненно, все еще имеет силу: все время что-то где-то запрещают, все время почти ничего не дозволено, закрытые ранее журналы по-прежнему закрыты, управляемые сверху учреждения управляются все оттуда же и т.д. и т.п. Власть действительно ведет себя, как могильщик, и почти все живое, что было так или иначе разрешено, живо чуть ли не случайно, по ошибке, держится на честном слове, испытывая неизменно множество затруднений и не чувствуя уверенности в завтрашнем дне.

Но то, что верно по отношению к произволу властей, не обязательно свидетельствует о реальном духовном потенциале общества. Как бы ни загоняли его в подвалы общественной жизни, как бы ни замалчивали и ни давили, он все же каким-то образом еще существует. Как-то где-то живет. И решительно не заслуживает того, чтобы его объявляли трупом.

Я, видите ли, не думаю, что мы все умерли. И вокруг себя замечаю отнюдь не только одни кресты и могилы.

Даже в большей степени, чем сотни книг, выходящих в самиздате, десятки машинописных журналов, частные или полуофициальные выставки, концерты, семинары и т.д., об этом говорит — во всяком случае на мой взгляд — кое-что еще. Театры, переполненные людьми, благодарными за каждое сколько-нибудь осмысленное слово и бурно аплодирующими каждой ехидной усмешке актеров. (О, если бы

⁷ Ярослав Дитл – популярный в 1970-е годы чешский театральный драматург, кина- и телесценарист. Наиболее известны снятые по его сценариям телесериалы, в частности, «Больница на окраине города».

⁸ Людвик Вацулик – видный деятель «Пражской весны» 1960-х гг., создатель знаменитого манифеста «2000 слов», участник движения «Хартия-77», автор ряда вышедших в чешском «самиздате» романов и множества фельетонов.

⁹ Биафра – область на востоке Нигерии, в 1967 г. объявленная повстанцами самостоятельной республикой. В 1970 г. восстание было подавлено.

такая публика была в начале шестидесятых годов! Наверное, ни один спектакль театра, в котором я тогда работал, не был бы сыгран до конца!) Очереди на всю ночь у касс некоторых театров перед началом продажи билетов на следующий месяц. Очереди у книжных магазинов, когда должен поступить (искромсанный цензурой) Грабал¹⁰. Чуть ли не стотысячный тираж дорогой книги по астрономии (та же книга в США вряд ли нашла бы столько читателей). Поездки молодых людей на другой конец страны ради концерта, который может и не состояться, и т.д. и т.п. Неужели все это и в самом деле кладбище? В самом деле «Биафра духа»?

Я не знаю, что будет твориться в культуре грядущих лет. Зато я знаю, от чего это — не полностью, но в достаточной мере — зависит: от того, как будет развиваться конфронтация между кладбищенскими устремлениями власти и этим неистребимым культурным голодом живого организма общества или той его части, которая еще не махнула на все рукой. (Что при каком-либо изменении ситуации начало бы пробуждаться к жизни и происходить среди той его части, которая, как это сейчас кажется, махнула на все рукой, я не осмеливаюсь прогнозировать.)

/3/

Я читал где-то, что при тоталитарной системе большим успехом, нежели мышление, пользуется мученичество.

Я реалист и поэтому не разделяю патриотической иллюзии, будто от мира — ввиду его безнадежного невежества — остаются сокрыты некие замечательные идеи, которые, как грибы, растут у нас на каждом углу. С другой стороны, что-то во мне восстает также против утверждения, что самой историей нам суждена незавидная роль лишь бездумных специалистов по части страдания, так сказать, бедных родственников людей «свободного мира», которым не приходится страдать и у которых поэтому есть время мыслить.

Прежде всего, мне не кажется, что у нас так уж много людей страдает из некоего мазохистского чувства или из-за неумения придумать другой способ времяпрепровождения. То, что иногда — не скроем: с легким пренебрежением — называют «мученичеством», к тому же, по-моему, не является в нашей стране ни особенно распространенным развлечением, ни отчаянным прыжком в пропасть; мы живем в стране, известной своим реализмом, и, право, весьма далеки от жертвенности, какая свойственна, например, полякам. Поэтому я не стал бы отказывать тем у нас, кого можно было бы подозревать в склонности к мученичеству, в способности рефлексировать: мне скорее кажется, что именно рефлексия составляет яркий отличительный признак чешского типа «мученичества» (достаточно вспомнить, к примеру, Яна Паточку — не симптоматично ли, что самый известной у нас жертвой того, что называют «борьбой за права человека», был наш виднейший философ?). И наоборот, наблюдая издалека за различными гражданскими действиями и общественными подъемами в «свободном мире», я отнюдь не уверен, что они всякий раз с неизбежностью ярче всего характеризуются именно глубиной мысли; боюсь, слишком часто здесь мысль отстает от воодушевления. Не потому ли, между прочим, что за это воодушевление обычно не приходится платить слишком много? Действительно ли жертвенность и мысль полностью исключают друг друга? Не может ли жертвенность при определенных обстоятельствах быть лишь следствием мысли, ее подкреплением или, напротив, движущей силой?

Короче говоря, я не осмелился бы утверждать, будто у нас мыслят меньше, чем где бы то ни было, потому что мы обречены страдать. Наоборот, я полагаю, что при желании из наших раздумий, может быть, именно потому, что за них плачено дорогой ценой и что они с трудом пробили себе путь, удалось бы извлечь нечто поучительное для всех. Правда, часто эти раздумья бывают путанными, бессвязными, косноязычными; легкостью и искрометностью популярных во всем мире бестселлеров наши тексты поистине не отличаются; английский шик и французский шарм, к сожалению, имеют традицию скорее в самих Англии и Франции, а не в несколько неуклюжей Центральной Европе — но я бы не делал из этого иного вывода, чем тот, что так уж оно сложилось.

Не знаю, насколько благотворное влияние окажет на наши перспективы то обстоятельство, что у нас (время от времени) все еще мыслят; однако неблагоприятным оно наверняка не будет. Тем более если иногда сыщется человек, который не испугается опасности заслужить своим упрямством прозвище «мученика».

/4/

Что такое «параллельная культура»? Не что иное, как культура, которая по тем или иным причинам не хочет, не может или не имеет права обращаться к общественности с помощью тех средств, которые находятся в ведении государственной власти, — а в тоталитарном государстве это все издательства, типографии, выставочные и концертные залы, театры, научные институты и т.д. В итоге такая культура использует то, что ей остается: пишущие машинки, частные студии, квартиры, сараи и тому подобное.

¹⁰ Богумил Грабал (1914–1997) – знаменитый чешский прозаик, автор многочисленных рассказов и повестей. Проза Грабала 1970-х гг. (романы «Я обслуживал английского короля», «Слишком шумное одиночество» и др.) в ЧССР была разрешена к печати только с 1976 г.

Как мы видим, ее «параллельность» обусловлена чисто внешне, и с этим напрямую не связано ничто иное — ни качество, ни эстетика, ни какая-либо идеология.

Я считаю необходимым подчеркнуть эту вполне тривиальную мысль, потому что в последнее время (особенно в эмигрантской печати) появились всякого рода критические статьи о «параллельной культуре» в целом, авторы которых как раз это тривиальное определение «параллельности» не принимали в расчет.

Говоря несколько упрощенно, эти критики исходили из следующего соображения: официальная культура подчинена некоей — естественно, негодной — официальной идеологии. Ее лучшей альтернативой является или должна являться «параллельная» культура. Какой же лучшей идеологии подчиняется эта последняя? Есть ли у нее вообще какая-либо идеология? Или программа? Или концепция? Ориентация или философия? И разочарования эти бы избежали, если бы с самого начала обратили внимание на то, что у «параллельной культуры» ничего подобного не может быть. Ибо сотни, если не тысячи очень разных людей, молодых, старых, одаренных, бездарных, верующих, неверующих, которых свела под одной крышей «параллельности» лишь поразительная узкоколотость власти, не терпящей почти ничего, никогда не смогут выработать общую программу. Ведь единственное, что их объединяет (и благодаря чему они встретились под одной крышей), — это их разнообразие и приверженность этому разнообразию, то есть тому, чем каждый из них является. А если бы они все же договорились о какой-нибудь общей программе, то это, наверное, было бы самым печальным исходом: один стандарт против другого... Пусть нынешняя «параллельная культура» не слишком богата выдающимися произведениями — в этом случае от нее не осталось бы вообще ничего: ведь если существует нечто глубоко чуждое всему культурному, так это именно стандарт. «Параллельная культура» возникла потому, что духовному потенциалу общества была тесна официальная униформа, он в ней просто не помещался и, соответственно, вышел за предписанные рамки. Для него было бы самоубийством, если бы, сделав это, он стал добровольно втискиваться в другую униформу, пусть даже в тысячу раз лучшую, чем та, от которой он отказался.

Вспоминаю, как в молодости меня забавляло, что основной доклад на разного рода съездах и конференциях писателей был неизменно озаглавлен «Задачи литературы в такой-то период», или «после такого-то партсъезда», или «в такой-то пятилетке», и что, вопреки всем задачам, которые перед ней то и дело ставились, литература делала всякий раз лишь то, что хотела. А если она вдруг пыталась выполнить намеченные задачи, это шло ей только во вред. Единственный шанс для нее — даже в ситуации «параллельности» (и именно в ней: не случайно же она нашла себе здесь убежище!) — заключается в том, что она не будет решать задачи, которые кто-либо, пусть из самых добрых побуждений, хотел бы перед ней поставить, и станет заниматься исключительно тем, чем сама пожелает.

Вспоминаю, как в молодости меня забавляло, что основной доклад на разного рода съездах и конференциях писателей был неизменно озаглавлен «Задачи литературы в такой-то период», или «после такого-то партсъезда», или «в такой-то пятилетке», и что, вопреки всем задачам, которые перед ней то и дело ставились, литература делала всякий раз лишь то, что хотела. А если она вдруг пыталась выполнить намеченные задачи, это шло ей только во вред. Единственный шанс для нее — даже в ситуации «параллельности» (и именно в ней: не случайно же она нашла себе здесь убежище!) — заключается в том, что она не будет решать задачи, которые кто-либо, пусть из самых добрых побуждений, хотел бы перед ней поставить, и станет заниматься исключительно тем, чем сама пожелает.

В Чехословакии сегодня ничуть не больше гениальных писателей, художников или музыкантов, чем когда-либо в прошлом. Разочарование по поводу того, что «параллельная культура» не лучше, чем она есть, которое время от времени высказывается разными людьми, хотя и понятно (чем отвратительнее человеку официальная культура, тем большего он ожидает от альтернативной и тем большие надежды с ней связывает), но в сущности неуместно: по какому такому капризу истории именно сейчас — в этих тягостных условиях — все должно быть в большем количестве и лучшего качества, чем когда-либо раньше?

Стучать по клавишам пишущей машинки умеют многие, и, к счастью, никто никому не вправе это запретить. Поэтому и в «самиздате» на одну хорошую книгу или стихотворение всегда будет приходиться масса плохих. Плохих будет даже больше, чем в условиях свободного книгопечатания, потому что издать что-либо в типографии всегда труднее, чем перепечатать на машинке. Но даже если бы в этом деле была возможна некая селекция, кто имел бы право ее осуществлять? Кто из нас осмелится сказать, что он всегда наверняка отличит истинную ценность — в особенности только нарождающуюся, непривычную, потенциальную — от мнимой ценности? Кто из нас знает, не сочтут ли наши внуки то, что сегодня кажется нам не заслуживающим внимания графоманством, наоборот, самым главным, что было создано в наше время? Кто из нас вправе лишить внуков этой не понятной нам радости? Разве не было основным принципом книгоиздания в более свободные времена то, что отвергнутый автор мог обратиться к конкурентам или опубликовать книгу за свой счет? Разве смели бы, не будь этой естественной возможности, Фирт, Фучик, Шкержик, Вилемек, Отто¹¹ и другие что-либо решать?

Серия «Петлице» — далеко не единственная, однако тем, кто мерит ее мерками «параллельную литературу» и, соответственно, несчастья и надежды народа, следует указать, что «Петлице» представляет собой некий пункт самообслуживания авторов и что каждый из них отвечает лишь сам за себя. И если кому-то что-либо из этой серии не нравится, пусть он адресует свое разочарование автору, а не вменяет это в вину другим. Не существует — опять-таки, к счастью, — ни генерального директора «Петлице», ни тем более директора концерна «Самиздат», несущего ответственность за то, чему дозволили быть написанным на машинке.

Я сознаю, что все это банально. Тем не менее выясняется, что об этих банальностях нелишне время от времени напоминать, особенно эмигрантам, ибо они пользуются оптикой, которая (зачастую из-за того, что наши тексты попадают им в руки от случая к случаю) порой дает искаженное представление.

¹¹ Чешские издатели конца XIX – первой половины XX в.

В статье «Прага 1984», написанной для «Арт Форум» и вышедшей по-чешски в «Критическом сборнике» 2/84, Индржих Халупецкий¹² замечает: «Либо он (художник — В.Г.) подчинится государственной власти, будет создавать произведения, пропагандирующие социализм, и это оценят и хорошо оплатят, либо будет протестовать во имя свободы и вести романтическую жизнь мятежного представителя богемы. И если официальное искусство не вызывает интереса, наверное, не стоит многого ожидать также от антиофициального искусства — и то, и другое одинаково обусловлено политическими моментами, и как бы ни были благородны и актуальны те или иные политические цели, мы вновь и вновь убеждаемся, что современное искусство и современная политика представляют два разных мира. Подобные тенденции не идут на пользу ни политике, ни искусству.» Не вполне ясно, пишет ли Халупецкий эти строки от своего имени или пародирует Ганса-Хайнца Хольца, чью статью излагает в предыдущем абзаце. Однако уже точно от себя он пишет чуть ниже в связи с несколькими недавними выставками чехословацких художников на Западе: «Это был не «социалистический реализм», но точно так же это не было и «антиофициальное искусство». Здесь отсутствовал политический контекст, и его даже нельзя было домыслить.»

Эти оценки, да и другие места из эссе Халупецкого создают впечатление, будто в Чехословакии существует три культуры, или три вида искусства: официальное, приспособленное к правящей идеологии, затем некое «антиофициальное» (очевидно, «диссидентское»), которым занимаются чудаки, находящие удовольствие в «романтической жизни мятежного представителя богемы», и которое ничуть не уступает в идиотизме официальному (отличаясь от последнего лишь характером политических идей), и, наконец, подлинное современное искусство, которое является единственным благом, ибо стоит в стороне от политики и любой идеологии.

Текст Халупецкого большей частью чисто информационный и не позволяет понять, действительно ли автор усматривает в современном чехословацком искусстве подобную дифференциацию. Поэтому в дальнейшем я буду полемизировать не с Халупецким, но лишь с той странной «тринитарной» картиной, которая встала у меня перед глазами при чтении его эссе.

Если исходить из предпосылки, что искусство представляет собой особый способ поиска истины — в самом широком смысле слова, то есть прежде всего истины внутреннего опыта художника, — то существует лишь одно искусство, единственным критерием которого являются сила, подлинность, новаторство, смелость и убедительность, с какими оно ищет эту истину, или же актуальность и глубина этой истины. Таким образом, с точки зрения ценности произведения второстепенно, какое политическое кредо исповедует художник как гражданин или каким идеям он готов служить своим творчеством, и вообще то, держится он за какие-то идеи или нет. И если привлекательность или непривлекательность политических идей в искусстве сама по себе ничего наперед не гарантирует, но с другой стороны и не дисквалифицирует его, то точно так же ничего наперед не гарантирует и не дисквалифицирует наличие или отсутствие у него какого-либо интереса к политике. Конечно, на официальных художественных выставках очень много второсортных произведений, а лучшие обретаются лишь где-то на периферии общественной жизни (в неофициальных и полуподпольных выставочных залах) или вообще вне ее (в студиях), но это происходит не потому, что авторы первых связаны с политикой, а авторы вторых — нет, но исключительно потому, что возможность быть признанным и получать выгодные заказы у нас сегодня в большей степени, чем когда и где бы то ни было, исключает упорное и безоглядное стремление художника приблизиться к некоей особой истине, без которого, по-видимому, подлинное искусство не может существовать. Чем более поступается художник этим упорством, дабы угодить власти и получить особые привилегии, тем меньше можно от него ожидать в смысле настоящего искусства. И наоборот, чем более свободным и независимым образом он добивается своего (и неважно, надевает он при этом на себя личину «мятежного представителя богемы» или нет), тем больший шанс он имеет сотворить нечто настоящее; причем речь идет именно о шансе: бескорыстия не всегда по пути с настоящим качеством.

Иными словами, мне кажется не слишком целесообразным подразделять искусство на правительственное и антиправительственное — с одной стороны, и независимое (читай: политически индифферентное) — с другой. Сила художественного воздействия измеряется не тем, насколько связано или не связано искусство с политикой. И если говорят о «двух культурах», официальной и «параллельной», то под этим, насколько я понимаю, не имеется в виду, что первая служит одним политическим идеям, а вторая — иным (в связи с чем следовало бы предполагать еще наличие «третьей» культуры, которая вообще не служит политике), но подразумеваются лишь внешние рамки, в каких культура реализуется. Под первой понимается культура, существующая в довольно-таки нечетком очерченном пространстве разрешенного, поддерживаемого или по крайней мере терпимого, где естественным образом сосредоточиваются многие из тех, кто готов по конъюнктурным причинам поступиться своей правдой, тогда как вторая — это культура, которая сама собой формируется в пространстве, куда устремляются — или выталкиваются — те, кто не хочет поступаться этой правдой (независимо от степени внешней «политизации» их творчества).

Я говорю об этом потому, что априорное разграничение искусства «антиофициального» (а стало быть, худшего) и «аполитичного» (а стало быть, лучшего) представляется мне весьма опасным. Тем самым к искусству невольно подходят с чуждыми ему мерками, пусть на сей раз они и перевернуты с ног на голову:

¹² Индржих Халупецкий – искусствовед и литературный критик.

ценность произведения обуславливается не его политизированностью, но наоборот, его аполитичностью. Ведь если Магда Етелова¹³ выстраивает свои конструкции, а Людвик Вацулик пишет в своем романе о диссидентах и полицейских, то художественная сила того и другого артефакта, право, никак не связана с тем, что ее конструкции можно считать аполитичными (если только не искать примитивных тематических ассоциаций), а столкновение диссидентов с полицейскими представляет собой в высшей степени политический акт. «Аполитичные» конструкции и «политизированная» полиция сами по себе ничего не гарантируют и не исключают. Главное в обоих случаях — это актуальность художественной правды, к которой оба автора стремятся и которая, с моей точки зрения, у обоих не подлежит сомнению. Степень же некоей внешней «тематической» политизированности или аполитичности с силой художественной правды никак не связана; если последняя и связана с чем-либо, то — абсолютно логично — лишь с мерой, в какой художник готов по причинам внешнего характера поступаться своей правдой.

Впрочем, как кажется, нынешние власти любого теоретика искусства чувствуют, что считать для себя угрозой. Имеются сотни примеров того, что особо решительно они преследуют не то, что громогласно провозглашает себя такой угрозой, но при этом лишено какой-либо художественной силы, а то, что имеет исключительную художественную глубину, пусть даже наружно оно не выглядит сколько-нибудь политизированным. Ибо суть конфликта заключается не в столкновении неких двух идеологий (например, социалистической и либеральной), но в столкновении анонимной, бездуховной, недвижимой и обездвиживающей («энтропической») власти с жизнью, с человечеством, с бытием и его тайной. И соперником власти в этом конфликте выступает не какая-либо альтернативная политическая идея, а самобытная и свободная человеческая сущность и вместе с тем неизбежно также искусство — именно искусство, как одно из важнейших выражений этой самобытной сущности.

/6/

Порой встречается нечто, что можно было бы назвать сектантским отношением к параллельной культуре, то есть мнение, будто все, что не распространяется исключительно в перепечатках или что не было подпольно записано на магнитофоны, непременно плохого качества и что не печататься, не исполняться и не выставляться публично — это само по себе заслуга или доблесть. А обратное — всегда автоматически признак нравственного и духовного упадка, если не предательство.

Я мог бы назвать довольно много хороших и серьезных начинаний разного рода, с которыми я столкнулся в сфере «первой» культуры и которые опровергают подобное мнение. И если я не стану этого делать, то лишь потому, что не хочу усложнить жизнь их авторам и обратить на них внимание тех, чья невнимательность позволила этим авторам сделать то, что они сделали. При этом я никогда не радуюсь, если кто-нибудь из «первой» культуры попадает во «вторую». Наоборот, я всегда рад столкнуться в «первой» культуре с чем-то таким, что скорее ожидал бы встретить во «второй».

Пусть «вторая», или параллельная, культура является важной питательной средой, стимулом, катализатором и зачастую вообще единственным гарантом духовной преемственности культурной жизни, тем не менее — ничего не поделаешь — решающей областью остается «первая» культура. Только когда подавляемый духовный потенциал общества начнет достаточно энергично вновь отвоевывать последнюю (хотя без «временного» существования в «параллельной культуре» ему не на что было бы опереться и не от чего оттолкнуться), ситуация станет отчетливо изменяться к лучшему. Ситуация в самой культуре — но в связи с ней и ситуация в обществе. Именно «первая» культура будет главным образом определять будущую атмосферу жизни; именно и только с ее помощью люди начнут по-настоящему распрямляться и освобождаться. Отношение «второй» культуры к «первой» в таком случае будет напоминать отношение спички к растопленной печи: без нее бы огонь, может быть, и не разгорелся, но сама она еще не в силах обогреть помещение.

Вероятно, из-за этих рассуждений меня можно подозревать в каком-то прикладном отношении к культуре — как будто я желаю художникам широкого общественного применения своих сил прежде всего потому, что это вселяет надежду на улучшение ситуации в целом. Поэтому хочу уточнить: всякое достойное культурное свершение, в какой бы сфере оно ни состоялось, уже само по себе благо — просто потому, что оно есть и кому-то что-то дает. Однако можно ли эту «самодостаточную ценность» отделить от «общего блага»? Не заключено ли оно в ней уже с самого начала? Разве уже тот факт, что некое произведение кому-то что-то дало, пусть лишь одному человеку и всего лишь на короткое время, в чем-то, хотя, возможно, и незаметно, не меняет к лучшему и общую ситуацию? Разве не является такой факт неотделимой составной частью этой ситуации, и в то же время разве не свидетельствует он о перемене? И не открывает ли перемена, обусловленная этим культурным свершением, путь другим культурным свершениям? Не является ли культура уже сама по себе чем-то общественно полезным? И разве какое-либо «улучшение ситуации» — в самом общем и глубоком, я бы сказал, экзистенциальном смысле слова — не есть именно то, что делает культуру культурой? Радость от того, что прочесть хорошую книгу или увидеть хорошую картину смогут не пять, а пять тысяч человек, полагаю, совершенно законным образом отражает смысл культуры — даже и в том случае, если это радость скорее по поводу того, что, как говорится, «лед тронулся». Ибо разве не является подобный «ледоход» — опять-таки в глубинном экзистенциальном смысле — изначально целью

¹³ Магда Етелова – современный чешский художник-концептуалист.

всего истинно культурного? Ведь любое хорошее произведение культуры отличается именно тем, что благодаря ему приходят в движение наши сонные души и ленивые сердца! А можно ли от пробуждающейся человеческой души отделить то, что она неизменно предполагает: пробуждающееся общество?

август 1984

Час между банкротом и политиком

Похоже, закончился период чего-то такого, что я для краткости, чисто условно, неточно и не слишком красиво назвал бы «классическим диссидентством». Под этим я подразумеваю эпоху, когда единственным истинно свободным гражданским голосом, который у нас звучал, был голос сравнительно небольшого и в глазах многих сограждан едва ли не самоубийственного сообщества людей, решавшихся высказывать вслух правду, невзирая на последствия, которыми им это грозило. Хотя эти люди пользовались симпатией известной части общества, подобные симпатии тщательно скрывались, так как немногие готовы были подставить себя под такой же удар, как «диссиденты». Прямых, явных и осязаемых политических успехов у этой независимой инициативы, конечно, было не так уж много; ее смысл — по крайней мере для меня — прежде всего лежал в нравственной плоскости: она создавала некий «нравственный горизонт», определяла некий пограничный критерий ценностей, устанавливала некую бесконечно удаленную точку, к которой можно было стремиться, протягивала в самой глухой чаще тонкий проводок преемственности, по которому от светлых полей прошлого к долгожданным светлым полянам будущего передавалась идея истинной гражданственности. Не было никаких гарантий, брезжила лишь надежда, что такая поляна однажды все же появится и что все это донкихотство когда-нибудь оценят, ибо оно позволит тем, кто шагнет на эту поляну, с чего-то начать, за что-то ухватиться. Чтобы им не пришлось строить, так сказать, в чистом поле.

Я не утверждаю, будто мы уже вышли на такую поляну. Мне кажется только, что виден просвет и что где-то на горизонте мы начинаем прозревать эту поляну.

Разумеется, момент прозрения — это не то же самое, что момент выхода на поляну. Наоборот, это совершенно не совпадающие одна с другой точки, отмечающие некоторую особую новую фазу, которая несет отчетливые черты временного положения дел, или переходного периода. Независимые инициативы и независимая культура уже давно не существуют лишь в строго параллельном мире, отделенном толстой стеной от жизни всего общества; короче говоря, мы уже не живем в гетто. С другой стороны, все еще отсутствует сколько-нибудь нормальная политическая культура, составной частью которой мы могли бы быть; отсутствует настоящая общественная жизнь, как и естественный для всех и естественно проявляющийся феномен свободной гражданственности. Ввиду этого независимые инициативы, уже отнюдь не являясь тем, чем они были до недавних пор, в то же время еще ни в коей мере не стали (и не могли стать) тем, чем многим хотелось бы их видеть и в качестве чего их многие уже и воспринимают. То есть реальной политической оппозицией со всеми ее составляющими, начиная от харизматических профессиональных лидеров и кончая конкретными и исполнимыми политическими программами.

Эта насквозь переходная ситуация, когда мы уже не таковы, каковы были, но одновременно еще и не такие (и не можем, а часто и не хотим быть такими), какими мы должны стать, слегка тревожна, несколько беспорядочна, но прежде всего очень трудна. Она ставит перед нами много новых задач, включая новое осмысление самих себя, и необходимость участия в будущем во множестве, вероятно, весьма жарких споров о том, как эти задачи решать.

Всеобъемлющего решения не может предложить никто; само собой, нет его и у меня. По поводу предстоящих нам задач могу высказать лишь несколько личных замечаний или рекомендаций:

1. Независимые инициативы не должны были бы впадать в чрезмерную эйфорию от того, что люди выходят на демонстрации, что они не боятся вместе с ними подписывать неугодные властям петиции и что часть общества начинает воспринимать эти инициативы как реальную политическую альтернативу, связывать с ними (часто до болезненного) свои надежды и верить, что они решат за общество все то, что на самом деле обязано и может решить единственно само общество. Такое упоение вдруг обретенной собственной значимостью (после стольких лет мучительного параллельного существования) более чем понятно: новая ситуация дает нам прекрасное чувство удовлетворения и согревающее душу ощущение того, что все как будто бесполезное, чем мы годами занимались, оказалось не таким уж бесполезным. Но чем психологически понятнее такое упоение, тем важнее для нас не поддаваться ему и не потерять трезвой рассудительности. Таким образом первое, что я рекомендую, — это реализм.

2. Независимые инициативы не должны никогда вставать в горделивую, но по существу довольно сомнительную и политически абсолютно бесперспективную позу — что, мол, они как единственные праведники, которые уже пятнадцать лет назад имели мужество публично говорить то, что сегодня говорит каждый, автоматически призваны играть некую «руководящую роль»; все, что бы они ни предприняли, заведомо лучше того, что предпримут другие. И после всего пережитого ими они не вправе компрометировать себя общением с тем, кто проснулся без пяти двенадцать, ибо моральный кредит имеют они, а не он. Короче говоря, им не следует забывать о том, что они сами всегда подчеркивали: что они борются не за свои интересы, а за интересы общества. Кажется, подобная позиция у нас не слишком

распространена, но я думаю, что не вредно будет заранее указать на такую опасность. Если мое предостережение излишне, тем лучше.

3. Новая ситуация, характеризующаяся повышенным интересом к независимым инициативам и особой популярностью, которой они пользуются, может вводить их (и порой уже вводит) в искушение постоянно демонстрировать самим себе, властям и обществу свое присутствие и свой вес, выступая с множеством не слишком содержательных деклараций, которые невольно переносят акцент с того, что реально делается, на то, какой резонанс это получает. Иногда кажется даже, будто кое для кого важнее как можно более громко объявить о некотором проекте, чем провести его в жизнь. Довольно соблазнительным, но весьма опасным представляется мне и другое искушение: сосредоточить — под давлением бурной эпохи — слишком большое внимание на действиях хотя и полезных, но в конце концов лишь сиюминутных, в ущерб занятиям менее заметным и с точки зрения настоящего момента менее привлекательным, но с точки зрения будущего, быть может, более важным. Я имею в виду кропотливый повседневный труд по выработке концепций и осознанию эпохи, организационные усилия по развитию и совершенствованию искусства вести дискуссии, которое Масарик считал предпосылкой всякой демократии, и культивирование тем самым гражданской жизни. Пусть мы никогда не сможем всесторонне подготовиться к вероятному непредсказуемо лучшему будущему и не избежим в нем импровизаций, нам все же следует по крайней мере стараться быть как можно более готовыми к нему. С точки зрения как конкретных проектов, так и формирования гражданского сознания, без которого даже самый достойный проект не имеет каких-либо шансов на успех.

4. Наконец, я бы подчеркнул еще самое, по моему мнению, главное. Чем активнее мы будем вступать на почву реальной политики, тем настойчивее мы должны напоминать себе об изначальных — нравственных — корнях нашей деятельности и тем зорче следить, как бы наша ответственность случайно и незаметно не начала подозрительным образом разделяться надвое: на ответственность человеческую и политическую. Ответственность бывает лишь одна; будь мы самыми униженными узниками, изгоями общества или же глашатаями народной воли, мы обязаны руководствоваться одной и той же совестью — действовать иначе означало бы растоптать не только собственное прошлое, но и все наши шансы на будущее. Я всегда был и до сих пор остаюсь уверен в том, что источник всех кризисных явлений, среди которых мы живем, кроется в нравственном кризисе общества и что никакой наш кризис — экономический, политический, экологический — нельзя разрешить иначе, как через преодоление нравственного кризиса, то есть преодоление той дьявольской идеологии эгоистической заботы о самом себе и человеческого и гражданского безразличия, которой так долго было насковозь поражено наше общество. Поэтому я считаю исключительно важными — может быть, даже самыми важными из всего — такие проявления, как неброская «гуманитарная помощь» жителей Малой Страны беженцам из Восточной Германии, стихийный сбор средств в помощь Армении или зарождающиеся на различных собраниях, будь то демонстрации, богослужения, концерты или что угодно иное, приметы единения народа. Эти добрые человеческие проявления и есть самая лучшая социальная почва любой хорошей политики. Это и есть подлинные зародыши той истинной гражданственности, на которую должен опираться всякий, кто будет заниматься в дальнейшем политической работой, ибо без этого он окажется в вакууме, один как перст, о котором говорил недавно Милош Якеш¹⁴.

7 октября 1989 г.

Новогоднее обращение к гражданам (Прага, 1 января 1990 г.)

Дорогие сограждане,

в течение сорока лет в этот день вы слышали из уст моих предшественников в тех или иных вариантах одно и то же: как процветает наша страна, сколько еще миллионов тонн стали мы произвели, как мы все счастливы, как верим своему правительству и какие прекрасные перспективы открываются перед нами.

Полагаю, вы избрали меня на этот пост не затем, чтобы и я тоже вам лгал.

Наша страна не процветает. Огромный творческий и духовный потенциал наших народов используется неразумно. Целые отрасли промышленности производят вещи, на которые нет спроса, тогда как того, в чем мы нуждаемся по-настоящему, нам не хватает. Государство, именуя себя государством рабочих, этих самых рабочих унижает и эксплуатирует. Наша отсталая экономика понапрасну растрчивает энергию, которой у нас немного. Страна, которая некогда могла гордиться образованностью своего народа, расходует на образование так мало, что занимает сейчас по этому показателю семьдесят второе место в мире. Мы загрязнили землю, реки и леса, доставшиеся нам в наследство от наших предков, так что с окружающей средой у нас сегодня дело обстоит хуже всех в Европе. Наши люди умирают раньше, чем в большинстве европейских государств.

¹⁴ Милош Якеш – в то время генеральный секретарь Центрального комитета компартии Чехословакии.

Разрешите мне поделиться с вами одним своим впечатлением. Недавно, когда я летел в Братиславу, я при всем обилии разнообразных дел нашел время посмотреть в иллюминатор. Я увидел комплекс «Словнафт», а за ним жилой массив Петржалка. Одного этого взгляда мне хватило, чтобы понять, что наши государственные и политические деятели десятилетиями не желали смотреть даже в иллюминаторы своих собственных самолетов. Никакие статистические данные, из тех, что имеются в моем распоряжении, не позволили бы мне быстрее и проще осознать состояние, в котором мы очутились.

Но все это еще не самое главное. Хуже всего то, что мы живем в загрязненной моральной среде. Мы нравственно больны, ибо мы привыкли говорить одно, а думать иное. Мы научились ничему не верить, не замечать друг друга, заботиться лишь о самих себе. Понятия «любовь», «дружба», «сострадание», «смирение» или «прощение» утратили для нас глубину и объем и для многих превратились в некие психологические диковинки или заблудившиеся послания прошлых времен, довольно смешные в эпоху компьютеров и космических ракет. Как мало тех, кто сумел крикнуть во весь голос, что сильные мира сего не должны быть всеильными и что продукция специальных ферм, где для них выращивают экологически чистую и качественную пищу, должна бы направляться в школы, детские дома и больницы, раз уж наше сельское хозяйство пока не может предложить такие продукты всем. Прежний режим, вооруженный своей надменной и нетерпимой идеологией, низвел человека до уровня производительной силы, а природу — до уровня орудия производства. Этим он нанес удар по самой их сути и их взаимоотношениям. Из талантливых и свободных людей, разумно хозяйствовавших в своей стране, он сделал винтики какого-то чудовищно громоздкого, громяющего и зловонного механизма, предназначение которого никому не известно. Этот механизм не умеет ничего другого, как только неудержимо изнашивать, приводя в негодность все свои винтики.

Говоря о загрязненной нравственной атмосфере, я имею в виду не только тех вельмож, которые едят экологически чистые овощи и не смотрят в иллюминаторы самолетов, но и всех нас. Все мы привыкли к тоталитарному режиму и приняли его как неизменную данность, тем самым по сути его поддерживая. Иными словами: все мы — хотя, разумеется, в разной степени — ответственны за ход тоталитарной машины; никого из нас нельзя считать только ее жертвой, но все мы одновременно и ее конструкторы.

К чему я клоню? К тому, что было бы крайне неразумно считать печальное наследие последних сорока лет чем-то чуждым, доставшимся нам от дальнего родственника. Напротив, следует воспринимать это наследие как нечто такое, что мы совершили по отношению к самим себе. Восприняв же его подобным образом, мы поймем, что от нас одних зависит изменить это положение дел. Списывать все на предыдущих правителей нельзя не только потому, что это была бы неправда, но и потому, что это могло бы облегчить бремя обязанности, лежащее ныне на всех нас. Обязанности самостоятельно, свободно, рассудительно и быстро действовать. Не будем себя обманывать: лучшее правительство, лучший парламент и лучший президент сами по себе могут немного. Да было бы и глубоко неверно ждать всеобщего исправления только от других. Ведь свобода и демократия предполагают соучастие, а значит, и совместную ответственность всех.

Если мы это осознаем, то все ужасы, которые новая чехословацкая демократия унаследовала, перестанут казаться такими ужасными. Если мы это осознаем, в наши сердца вернется надежда.

При исправлении дел человеческих нам есть на что опереться. Последний период, и особенно последние полтора месяца нашей мирной революции, показали, какой мощный общечеловеческий, нравственный и духовный заряд и сколь глубокая гражданская культура скрывались в нашем обществе под навязанной ему маской апатии. Когда бы ни говорил мне кто-либо, что, мол, мы такие-то или иные, я всякий раз возражал, что общество — вещь довольно таинственная и что никогда нельзя верить лишь тому его облику, которое оно в данный момент демонстрирует. Я рад, что не ошибался. Во всем мире люди не перестают удивляться, откуда вдруг взялась в этих покорных, униженных, скептических и, казалось бы, ни во что уже не верящих гражданах Чехословакии такая потрясающая сила, что они всего за несколько недель вполне благопристойным и мирным образом скинули со своих плеч тоталитарный режим. Да мы и сами не перестаем этому удивляться. И спрашиваем себя: из какого источника молодые люди, в жизни не видевшие другого режима, почерпнули свое стремление к правде, вольнолюбие, политическое воображение, гражданское мужество и мудрость? Как так получилось, что и их родители, то есть поколение, считавшееся потерянными, к ним присоединились? Как вообще могло случиться, что столько людей мгновенно поняло, что делать, и никому из них не потребовались для этого никакие советы или инструкции?

Полагаю, что это внушающее надежду обличье нашего сегодняшнего общества имеет две главные причины. Во-первых, человек никогда не является лишь продуктом внешнего мира, он всегда способен вознестись к чему-то высшему, хотя бы внешний мир эту его способность так или иначе подавлял. Во-вторых, гуманистические и демократические традиции, о которых у нас так часто попусту болтали, все же дремали где-то в подсознании наших народов и национальных меньшинств и незаметным образом передавались из поколения в поколение с тем, чтобы в нужный момент каждый из нас обнаружил их в себе и претворил в жизнь.

За нашу нынешнюю свободу нам, впрочем, пришлось дорого заплатить. Многие наши сограждане в пятидесятые годы сгинули в тюрьмах, многих казнили, были погублены тысячи человеческих жизней, сотни тысяч талантливых людей были изгнаны за границу. Преследовали тех, которые в войну отстаивали честь наших народов, тех, которые выступали против тоталитарного правительства, как и тех, которые нашли в

себе силы просто быть самими собой и свободно мыслить. Ни один из них, заплативших тем или иным способом за нашу свободу, не должен быть забыт. Независимые суды должны по справедливости оценить вину тех, кто за это ответствен, чтобы стала явной вся правда о нашем недавнем прошлом.

Разумеется, мы не должны забывать и о том, что другие народы заплатили за свою нынешнюю свободу еще дороже и что тем самым они косвенным образом платили и за нас. Потоки крови, пролившейся в Венгрии, Польше, Германии и совсем недавно — особенно ужасным образом — в Румынии, как и море крови, пролитой народами Советского Союза, не могут быть забыты, потому что каждое человеческое страдание касается любого из нас. И более того: всего этого нельзя забыть также потому, что столь великие жертвы явились трагическим фоном сегодняшней свободы или постепенного освобождения народов советского блока, а тем самым и почвой нашей только что завоеванной свободы. Без перемен в Советском Союзе, Польше, Венгрии и Германской Демократической Республике у нас едва ли произошло бы то, что произошло, а если и да, то все эти события не протекали бы так мирно.

То, что для нас сложились благоприятные международные условия, однако, не означает, что в течение этих недель нам кто-либо непосредственным образом помогал. Спустя века оба наших народа выпрямились сами, не опираясь на помощь более сильных государств или держав. Мне кажется, что в этом заключается великое нравственное значение настоящего момента: в нем таится надежда на то, что впредь мы уже не будем страдать комплексом людей, которые кого-то за что-то все время благодарят. Сейчас только от нас зависит, воплотится ли в жизнь эта надежда и возродится ли в исторически новой форме наша гражданская, национальная и политическая уверенность в себе.

Уверенность в себе не есть гордыня.

Совсем наоборот: лишь человек или народ, в хорошем смысле этого слова уверенные в себе, способны прислушиваться к голосу других, воспринимать их как равных, прощать врагам и каяться в собственных грехах. Давайте же попытаемся, как индивиды, привнести такую уверенность в себе в жизнь нашего сообщества, а как народы — в наше поведение на международной арене. Только так мы вернем себе уважение других народов, уважение друг к другу и к самим себе.

Наше государство не должно больше быть «довеском» или «бедным родственником» какого-либо другого. Нам, конечно, придется многое брать от других и многому у них учиться, но отныне, спустя длительное время, мы будем делать это как их равноправные партнеры, которым есть также что предложить.

Наш первый президент, продолжая мысли Хельчицкого и Коменского¹⁵, написал: «Иисус, но не Цезарь.» Сегодня эта идея вновь воскресла среди нас. Я позволю себе сказать, что мы теперь даже можем распространять ее дальше, внося тем самым новый элемент в европейскую и мировую политику. Если мы того захотим, из нашей страны всегда будут исходить любовь, стремление к взаимопониманию, сила духа и мысли. Именно это могло бы стать нашим самобытным вкладом в мировую политику.

Масарик считал, что основа политики — нравственность. Давайте попробуем в новую эпоху и в новой форме возродить такое понимание политики. Давайте учить самих себя и других, что политика должна выражать стремление способствовать счастью человеческого сообщества, а не желание его обмануть или подмять под себя. Давайте учить самих себя и других, что политика — это не обязательно искусство возможного, особенно если под этим подразумевается искусство спекуляций, расчетов, интриг, тайных соглашений и прагматического маневрирования, но что она может быть также искусством невозможного, то есть искусством, как сделать лучше себя и весь мир.

Мы маленькая страна, и тем не менее некогда мы были духовным центром Европы. Почему бы нам опять не сделаться им? Не могло бы также это стать нашим вкладом, которым мы воздали бы другим за помощь, какая нам от них потребуется?

Отечественная мафия — те, которые не смотрят в иллюминаторы самолетов и едят специально откормленных для них свиней, — хотя еще и жива и время от времени мутит воду, но не она уже является первейшим нашим врагом. В еще меньшей мере является им какая-либо международная мафия. Главный наш враг сегодня — это наши собственные пороки. Равнодушие к общим делам, честолюбие, тщеславие, эгоизм, личные амбиции и конфликты. Именно на этом поприсе нам предстоят главные столкновения.

Перед нами свободные выборы, а следовательно, и предвыборная борьба. Не допустим же, чтобы эта борьба запятнала лицо нашей до сих пор чистой революции. Постараемся не утратить симпатии всего мира так же быстро, как мы их снискали, ввязавшись в гушу схваток за власть. Не допустим, чтобы под благородной мантией жажды послужить общему делу опять дала всходы жажда служить лишь себе самому. Главное сейчас — не то, какая партия, клуб или группа победит на выборах. Главное — чтобы в ходе их победили, невзирая на партбилеты, в нравственном, гражданском, политическом и профессиональном отношениях лучшие из нас. Дальнейшая политика и престиж нашего государства будут зависеть от того, кого мы выберем в наши представительные органы.

Дорогие сограждане!

¹⁵ Петр Хельчицкий (1390–1460) – чешский религиозный мыслитель, приверженец идеи неппротивления злу насилием. Ян Амос Коменский (1592–1670) – великий чешский философ-гуманист, всемирно известный педагог.

Три дня назад по вашей воле, выраженной депутатами Федерального собрания, я стал президентом нашей республики. Ввиду этого вы, конечно же, по праву ожидаете, что я выскажусь о том, какие задачи я в качестве президента перед собой вижу.

Первая из них — это использовать все свои полномочия и все свое влияние для того, чтобы все мы в скором времени достойно предстали перед избирательными урнами в ходе свободных выборов и чтобы наш путь к этому историческому рубежу был мирным и благопристойным.

Вторая моя задача — следить за тем, чтобы перед этими урнами мы предстали действительно как два полноправные народа, которые уважают интересы, национальную самобытность, религиозные традиции и святыни друг друга. Чех на посту президента, принеся присягу выдающемуся и духовно близкому мне словаку, я, ввиду множества тяжких испытаний, выпавших в прошлом на долю словаков, считаю своим особым долгом заботиться о том, чтобы уважались все интересы словацкого народа и чтобы в будущем ему не был закрыт доступ к любой государственной должности, включая высшую.

Третья моя задача — поддерживать все, что будет способствовать тому, чтобы облегчить жизнь детям, старикам, женщинам, больным, работникам тяжелого физического труда, представителям национальных меньшинств и вообще всем гражданам, которые по тем или иным причинам живут хуже остальных. Лучшие продукты питания или больницы впредь не должны быть привилегией властей предрержащих — они должны находиться в распоряжении тех, кто больше всего в этом нуждается.

Как верховный главнокомандующий вооруженных сил я намерен гарантировать, что обороноспособность нашего государства уже ни для кого не станет предлогом к тому, чтобы препятствовать далеко идущим мирным инициативам, включая сокращение срока военной службы, введение альтернативной воинской службы и общую гуманизацию солдатской жизни.

В нашей стране много заключенных, которые хотя и совершили серьезные преступления и несут за это наказание, однако, несмотря на добрую волю некоторых следователей, судей и в первую очередь адвокатов, столкнулись с несправедливой юстицией, ущемлявшей их права, и которые обретаются в тюрьмах, где никто не старается пробудить то лучшее, что есть в каждом человеке, но где людей наоборот унижают и душевно и физически уничтожают. Ввиду этого я решил объявить широкую амнистию. В то же время я призываю заключенных понять, что сорок лет несправедливого следствия, суда и пребывания в тюрьме нельзя исправить за одну ночь, понять, что все готовящиеся в быстром темпе преобразования непременно потребуют некоторого времени. Что, бунтуя, они не помогут ни обществу, ни самим себе. Общественность же я прошу не бояться выпущенных на свободу заключенных, не осложнять им жизнь и по-христиански помогать им — по их возвращении к людям — пробудить в себе то, чего в них не сумели пробудить тюрьмы: способность покаяться и желание жить, как все порядочные граждане.

Моя почетная миссия — укрепить авторитет нашей страны в мире. Я был бы рад, если бы другие государства уважали нас за то, что мы продемонстрируем взаимопонимание, терпимость и миролюбие. Я был бы счастлив, если бы еще до выборов нашу страну посетили хоть на один день папа Иоанн Павел II и далай-лама. Я буду счастлив, если упрочатся наши дружественные отношения со всеми народами. Я буду счастлив, если еще до выборов мы установим дипломатические отношения с Ватиканом и Израилем. Я хочу внести вклад в дело мира также своим завтрашним кратким визитом к двум нашим объединяющимся соседям: в Германскую Демократическую Республику и в Федеративную Республику Германии. Не обойду молчанием также других наших соседей — братскую Польшу и все более близкие нам Венгрию и Австрию.

В заключение я хочу сказать, что я намерен стать президентом, который будет не столько говорить, сколько работать. Президентом, который будет не только смотреть в иллюминатор своего самолета, но который — и это главное — будет неизменно присутствовать среди своих сограждан и прислушиваться к ним.

Вы, возможно, спросите, о какой республике я мечтаю. Отвечаю: о республике независимой, свободной, демократической, экономически процветающей и в то же время социально справедливой, короче, о республике человеческой, которая служит человеку в надежде, что и человек послужит ей. О республике всесторонне образованных людей, без которых нельзя разрешить ни одной из наших проблем. Человеческих, экономических, экологических, социальных и политических.

Самый знаменитый из моих предшественников начал первую свою речь цитатой из Коменского. Разрешите же мне закончить мою первую речь парафразой того же изречения:

Власть твоя, о народ, к тебе вернулась!

**Благодарственная речь при присуждении звания почетного доктора Еврейского университета
(Иерусалим, 26 апреля 1990 г.)**

Уважаемый господин ректор,
уважаемые присутствующие,

прежде всего хочу поблагодарить вас за большую честь, которую вы оказали мне, присвоив звание почетного доктора вашего университета. Хотя мне уже не в первый раз присуждают подобное звание, но и сегодня, как и в предыдущих случаях, я принимаю его все с тем же неизменным чувством глубокого стыда. Мучась сознанием того, что я при своем незаконченном образовании не заслуживаю этого звания, я воспринимаю его как чудесный дар, который вновь и вновь приводит меня в смущение, и не могу отделаться от мысли, что вот-вот появится некто посвященный, вырвет у меня из рук только что полученный диплом и, взяв за шиворот, выведет меня из зала со словами, что, мол, все это ошибка, помноженная на мою наглость.

Вы, конечно, поняли, к чему я клоню в моем столь своеобразно начатом благодарственном выступлении. Я хочу воспользоваться этим случаем, чтобы выразить в нескольких фразах свою давнюю искреннюю любовь к великому сыну еврейского народа пражскому писателю Францу Кафке.

Я не кафковед, обычно не особенно слежу за литературой о Кафке и даже не могу сказать, что прочел все им написанное. То, что я довольно апатично отношусь к исследованиям о Кафке, имеет свою причину: у меня такое чувство, что единственный, кто понимает Кафку, это я сам и что никто не вправе становиться посредником между мной и его творчеством. То же, что я не слишком усердствую в изучении его произведений, обусловлено моим смутным ощущением, что мне не обязательно читать и перечитывать всего Кафку, так как я и без того знаю, что найду в его книгах. В глубине души я убежден даже, что если бы Кафки не было, а я умел писать лучше, чем пишу, все его произведения написал бы я.

Сознаю, как странно звучит то, что я только что сказал, но, надеюсь, вы меня понимаете. Я имею в виду лишь то, что всегда находил у Кафки многое от моих собственных взаимоотношений с миром, с самим собой и с моим существованием в этом мире.

Попытаюсь очень коротко, в назывных предложениях, перечислить некоторые грани этого моего опыта, которые легче всего выразить словами. Это, во-первых, некое глубокое фундаментальное и потому весьма неясное чувство собственной вины, как будто само мое существование есть своего рода грех. Помимо того, это острое ощущение неуместности меня самого и всего, что невольно образуется вокруг меня. Давящее впечатление невыносимой духоты. Потребность все время объяснять кому-то свои поступки и перед кем-то оправдываться. Тяга к недостижимому порядку вещей, тем более сильная, чем загадочнее та неровная местность, по которой я шагаю. Периодические вспышки потребности подтвердить свое проблематичное тождество, покрикивая на кого-нибудь и настойчиво домогаясь своих прав. Такое покрикивание, конечно же, совершенно бесполезно, ибо оно роковым образом всегда бьет мимо цели и с безнадежностью исчезает в черной дыре, меня окружающей. Все, с чем я сталкиваюсь, выставляет мне навстречу прежде всего свои абсурдные стороны. Я как будто все время бегу за вырвавшейся далеко вперед группой сильных и уверенных в себе людей, но никак не могу нагнать их и уж тем более с ними поравняться. Я в принципе не нравлюсь сам себе, и мне кажется, что я заслуживаю лишь всеобщего осмеяния.

Так и слышу, как многие из вас уже шепотом возражают мне, что я только ряжусь в эти кафкианские одежды, а на самом деле совсем не такой: мол, я человек, который спокойно и упорно за что-то боролся, и эта борьба вознесла меня на самую вершину власти в своей стране.

Да, я признаю, что внешне могу казаться прямой противоположностью всевозможных Йозефов К., землемеров К. и Францев К. Тем не менее я стою на том, что только что сам о себе сказал. Добавлю лишь, что с моей точки зрения именно мое внутреннее чувство изъятости и невключенности, некоей изгнанности и глубокой неуместности является скрытой движущей силой всех моих упорных стараний и именно мое отчаянное стремление к порядку вновь и вновь ввергает меня в совершенно невероятные авантюры. Я осмелился бы даже утверждать, что все хорошее, что я когда-либо сделал, я, возможно, совершил лишь затем, чтобы заглушить свое почти метафизическое чувство вины. Мне кажется, я потому только что-то все время делаю, что-то организую и за что-то борюсь, чтобы доказать свое право на существование, которое я постоянно подвергаю сомнению.

Вы, вероятно, спросите: как может быть президентом какой-либо страны человек, который вот так себя воспринимает? Как ни парадоксально это звучит, должен вам признаться, что если я все же стал лучшим президентом, чем мог бы быть на моем месте кто-нибудь другой, то именно потому, что некоторой глубоко сокровенной подоплекой моих усилий служат постоянные сомнения в самом себе и в своем праве занимать этот пост. Я бы нисколько не удивился, если бы в разгар моих президентских занятий меня вдруг вызвали или доставили в некий сомнительный трибунал, а то и сразу отвели под конвоем в каменоломню. Точно так же я бы не удивился, если бы услышал сейчас слово «подъем!», проснулся в своей камере и стал со смехом пересказывать соседям все, что со мной случилось за последние полгода. Чем ниже я падаю, тем более подобающим кажется мне мое место, и наоборот, чем выше я взбираюсь, тем сильнее гложет меня подозрение, что это какая-то ошибка. И я на каждом шагу ощущаю, как хорошо при выполнении

президентских обязанностей сознавать, что я для этой должности не гоюсь и что когда-нибудь меня ее по праву лишат.

То, что я тут говорил, не было ни лекцией, ни эссе, а лишь коротким комментарием на тему «Франц Кафка и мое президентство». Полагаю, было вполне уместно именно чеху и именно в Еврейском университете выступить с таким комментарием. Может быть, я приоткрыл карты больше, чем следовало, и мои советники меня за это пожурят. Но я ничуть не обижусь. Ведь именно этого я ожидаю и заслуживаю. И пусть моя готовность принять заслуженный упрек будет еще одним доказательством того, как хорошо для исполнения моих обязанностей всегда быть готовым к худшему.

Еще раз благодарю вас за оказанную мне честь. После всего сказанного мне стыдно вновь повторять, что я принимаю ее с чувством стыда.

Спасибо.

Интервью корреспондентам еженедельника «Респект» (20—26 июля 1992 г.)

Вы сложили с себя полномочия президента ЧСФР. Хотя этого шага следовало ожидать, большинство людей он все же поверг в шок или напугал. Чему-то определенно приходит конец. Вы тоже испытываете подобное чувство?

По всей видимости, приходит конец семидесятичетырехлетней чехословацкой государственности и начинается государственность иная, которая наверняка — во всяком случае поначалу — в Чешской Республике и в Словакии будет разной. В каком-то смысле заканчивается также ноябрьская революция, то есть тот период, когда во всех бедах винили коммунистов. Начинаются суровые демократические будни. Короче говоря, шутки кончились. Часто приходится слышать банальный слоган — мол, закончилась эпоха диссидентов, начинается эра прагматиков. Не думаю, что все обстоит так просто. В Германии после второй мировой войны участников сопротивления сначала прославляли, а потом стали отодвигать в тень, так как общество желало идентифицировать себя с политиками, судьбы которых напоминали судьбы рядовых людей: с одной стороны, такие люди не были слишком тесно связаны с нацистским режимом, а с другой — открыто не противодействовали ему. Иными словами, общество не захотело смотреться в нравственное зеркало. Только в середине пятидесятых годов участники сопротивления вновь стали возвращаться в политику и создали демократический «инстеблишмент» общества. Возможно, в посткоммунистических странах тоже произойдет нечто подобное.

Вы два с половиной года были президентом Чехословакии. Как Вы можете оценить это время? Что Вам удалось, а что — нет?

Я с трудом могу отделить свои личные достижения и неудачи от наших общих достижений и неудач. Чехословакия стала независимой, признанной международным сообществом демократической страной. Наверное, в этом есть и моя заслуга, но, разумеется, это успех не только мой, но и всех тех, кто трудился ради него, каждый в своей области, включая и вас, журналистов, потому что, не будь вашего свободного творчества, мы не могли бы называться демократическим государством. А кого винить за то, что нам не удалось создать разумную и справедливую федерацию и хорошую конституцию демократического федеративного государства? Меня? Или парламент? Или всех нас, все общество? Наверное, только независимый историк — по прошествии времени — сумеет оценить степень вины разных лиц и общественных сил в том, что произошло хорошего и дурного.

Вы активно ратовали за сохранение единого государства. Рассматриваете ли Вы сегодня распад ЧСФР как свое поражение? Готовы ли Вы к тому, что политические противники станут называть Вас «могильщиком республики Масарика»?

Если кто-либо является президентом той или иной страны, он, безусловно, должен прилагать усилия к тому, чтобы эта страна продолжала существовать. Я, конечно же, пытался сохранить наше государство — не только потому, что это было моей обязанностью, но и потому, что предпочитал сохранение федерации возникновению двух самостоятельных государств. В то же время я старался, чтобы его внутреннее устройство стало более справедливым. Если мы разделимся на два государства, я не буду считать это своим поражением. Я нашу страну не делю — во всяком случае мне так кажется. Не делит ее и господин Мечьяр¹⁶. Если она будет разделена, то под давлением некоей исторической необходимости, которую выразит воля избирателей. Похоже, что потребность словацкого общества встать на ноги — со

¹⁶ Владимир Мечьяр – в 1991–1992 гг. председатель правительства Словацкой Республики в составе ЧСФР, с 1993 г. – первый председатель правительства независимой Словацкой Республики. В 1991 г. основал и возглавил партию Движение за демократическую Словакию.

всеми последствиями, какие это повлечет за собой, — сильнее, чем мы, сторонники федерации, полагали. Но я решительно не считаю, что именно я похоронил республику Масарика. Я, наоборот, делал все, что было в моих силах, для ее сохранения. Возможно, мне следовало делать это лучше. Но делай я это в тысячу раз лучше, мои индивидуальные усилия едва ли могли бы способствовать ее сохранению, когда сама она не была пронизана всеобщей волей к сохранению. А такой воли явно не доставало. Иначе бы эта республика не стояла сегодня перед реальной альтернативой разделения. Ваш вопрос — если позволить себе немного демагогии — можно было бы перефразировать, так что я сам мог бы спросить вас, почему мне суждено было участвовать в похоронах ребенка, который, едва появившись — без моего участия — на свет, был обречен на погибель? Поймите меня правильно: я не считаю, что создание Чехословакии было плохой идеей. Я задаюсь лишь вопросом, нельзя ли было эту идею реализовать лучшим образом. Не знаю, может быть, в то время иначе было нельзя. Не хочу махать кулаками после драки. Да и само наше разделение я не воспринимаю как какую-нибудь трагедию рока. Важнее всего, возникнут ли после распада Чехословакии два свободных, демократических, миролюбивых и процветающих государства. Если да, то не о чем и горевать. Если нет — то это серьезно и весьма прискорбно. Есть ценности выше, чем размеры государства.

Как Вы относитесь к идее проведения референдума?

Референдум, за который я бился два года и на котором надо было бы для начала поинтересоваться мнением граждан, хотят ли они разделиться, теперь уже явно не имеет смысла. Ибо никто не проявляет желания его объявить. Разве только те, кто видит в нем единственный конституционный способ разделения страны, или кто все еще верит в возможность сохранения общего государства. Я, конечно, не исключаю ратификационного референдума, который предлагает господин Мечъяр, но для этого нужно принять соответствующий закон. Эта поначалу несколько спорная форма представляется сегодня единственно возможной.

Вы сказали, что с референдумом связывают свои надежды те, кто еще верит в возможность сохранения общего государства. А Вы сами верите в это?

Я по-прежнему полагаю, что общее государство лучше, чем две республики. Но я реалист и вижу, что для этого сегодня уже не хватает политической воли. Я извлекаю из этого свои уроки и думаю о том, что будет дальше.

В чем, по Вашему мнению, заключаются в настоящий момент чешские интересы? На каких идеалах должно было бы основываться чешское государство — и чего, напротив, ему следовало бы избегать?

В чешской духовной истории, в чешской государственности заключены некие мотивы, на которые можно и, по моему убеждению, необходимо опираться. Это, в частности, мысль о том, что сама по себе принадлежность к «чешскому» не самодостаточна и не является лучшим мерилom ценностей, но обретает смысл и реализуется лишь тогда, когда мы берем на себя, так сказать, общечеловеческие задачи и ответственность за судьбу человечества в целом. Мы живем не только ради самих себя, и если бы мы действовали исключительно в собственных интересах, то мы бы недалеко ушли. Думаю, что новая чешская государственность должна иметь духовное и нравственное измерение, что она должна опираться на наши гуманистические традиции в сфере духа и государственности. Это традиции веры, духовности, терпимости, образованности и так далее, которые представляют, например, князь Вацлав, Карл IV, Гус, Хельчицкий, Коменский, Иржи из Подебрад, «чешские братья»¹⁷ — а также Т.Г.Масарик. Само собой, у нас были и другие традиции, возможно, не менее мощные, например, чешский коллаборационизм или же чешская бранчивость.

Скорейший и последовательный переход к рыночной экономике необходим. Мы все того желаем, или, точнее, большинство наших сограждан того желает, но в качестве единственной программы или идеи существования государства этого недостаточно. Тем не менее я верю, что именно гуманистические традиции чехов помогут достичь и этой цели.

¹⁷ Князь Вацлав (907–935) – представитель династии Пршемысловцев, убитый своим братом Болеславом, причтенный к лику святых и почитаемый как покровитель чешского народа. Карл IV (1316–1378) – чешский король и император Священной Римской империи, при котором средневековое чешское государство достигло наивысшего расцвета. Ян Гус (1372–1415) – великий чешский религиозный мыслитель и реформатор церкви, сожженный на костре как еретик. Иржи из Подебрад (1420–1471) – чешский король, избранный в 1458 г. представителями обеих религиозных сил в стране: гуситами и католиками. Чешские братья – церковная протестантская община, основанная в 1457 г. на принципах учения П. Хельчицкого; в XVI в. развивала активную гуманистическую деятельность, в том числе книгоиздательскую; после 1620 г. находилась в изгнании, в 1650 г. распущена ее последним епископом Я. Я. Коменским.

Как Вы оцениваете историческое значение и сегодняшнюю роль Вацлава Клауса¹⁸? Какую роль, по Вашему мнению, он будет играть в независимом чешском государстве?

Я ценю Вацлава Клауса за трудолюбие, спокойствие и решимость реформировать нашу экономику. В последнее время выяснилось, что он вдобавок и хороший политик: он сумел создать политическую партию и в значительной мере способствовал ее успехам на выборах. В случае разделения нашего государства Вацлав Клаус, несомненно, будет играть заметную роль в чешской политике. Мое уважение к нему ничуть не меньше от того, что сам я вылеплен из несколько иного духовного, или идейного, теста, нежели он. Впрочем, это нормально: если бы все политики были похожи друг на друга как две капли воды, то политика стала бы скучнейшим делом.

Каким представляется Вам Ваше политическое будущее после разделения ЧСФР?

Я уже не раз говорил, что моя натура явно не позволит мне исчезнуть из общественной жизни. За свою жизнь я тысячу раз решал «исчезнуть» или хотя бы «уйти на каникулы», но это мне ни разу не удалось. Выльется ли моя общественная деятельность в политическую — трудно сказать. Но и этой возможности я не исключаю.

Какая система выборов, по Вашему мнению, наиболее подходит для чешского государства?

Как вам известно, в свое время я предложил Федеральному собранию принять новый закон о выборах. Мой проект предполагал комбинирование мажоритарного и пропорционального принципа. Я не раз говорил и писал о том, какие преимущества имела бы такая система. Надеюсь, теперь, когда у меня будет больше времени, чтобы писать, я вернусь к этому вопросу и постараюсь вновь подробно обосновать, почему такая система для нас предпочтительна. Последние наши выборы и состав парламента, возникшего в результате этих выборов, лишь укрепили это мое убеждение. Если Чехословакия разделится, новые парламентские выборы, похоже, состоятся еще не скоро. Так что будет время для дискуссии об оптимальном законе о выборах.

Какие полномочия должен иметь президент? Сторонник ли Вы прямых выборов главы государства?

Я не считаю, что у нас следует ввести тот или иной тип так называемой президентской системы, когда президент фактически является главой исполнительной власти. Хотя президент всегда является частью исполнительной власти, в нашем случае — в соответствии с нашими традициями и по ряду других причин — его задачи должны быть иными, нежели задачи правительства. Он скорее призван играть роль конституционного гаранта в случае разного рода кризисов, скажем, конфликта между правительством и парламентом. Например, он должен иметь право распустить парламент и объявить новые выборы в случае, если парламент несколько раз подряд проголосует за недоверие правительству, как и право назначить временное правительство. Точно так же он должен обладать правом возвращать законы для повторного рассмотрения в парламент, который — в случае отклонения поправок президента — был бы обязан принять эти законы более квалифицированным большинством голосов. Этот принцип, общепринятый в других странах, опять же служит некоторой гарантией демократии: представьте себе, например, что какая-либо партия, имея в парламенте большинство, начнет принимать законы, долженствующие навсегда утвердить ее гегемонию (для этого не обязательно законодательно закреплять руководящую роль одной партии, это можно сделать куда тоньше). От подобных опасностей, которые нам сегодня могут казаться лишь теоретически возможными, хорошая конституционная система застрахована. Большей частью благодаря тому, что существует еще одна инстанция, способная по крайней мере помешать парламентскому большинству вести себя недемократически. Такую роль играет либо высшая палата (сенат, совет федерации и т.п.), либо президент, либо оба вместе. При этом мне представляется, что если президент наделен такими полномочиями, о каких я говорю, он не должен быть подотчетен тому же органу, что и правительство. Ибо если парламент вправе в любой момент отрешить президента от должности, точно так же, как он может отправить в отставку правительство, то президент перестает быть гарантом чего бы то ни было. Наша конституция 1920 года предусматривала такой случай: президент хотя и избирался парламентом, но не был ему подотчетен и не мог быть смещен им — ответственность за его действия несло правительство, или если его легитимность подтверждается иной инстанцией, нежели палата парламента, голосующая за доверие правительству. Президент может избираться либо непосредственно гражданами, как в Австрии, Португалии и других странах, либо другой палатой парламента, либо расширенным составом парламента — с участием

¹⁸ Вацлав Клаус – в 1991–1992 гг. председатель правительства Чешской Республики в составе ЧСФР, позже до 1998 г. председатель правительства независимой Чешской Республики; автор чешских рыночных реформ. В 1991 г. основал и возглавил Гражданскую демократическую партию.

представителей самоуправляемых субъектов низшего уровня, как в Германии, и т.п. Таким образом я не считаю единственной возможностью прямые выборы (которые, впрочем, имеют свои общепризнанные преимущества). Для меня важен лишь «иной» характер легитимности президента.

Опасаетесь ли Вы политического радикализма после распада ЧСФР? И если да, то как, по Вашему мнению, он будет проявляться и как с ним можно бороться?

Убежден, что если будет возобновлена чешская государственность, всевозможные политические силы поймут, что в столь серьезный момент они должны контролировать себя и действовать во благо государства или по крайней мере проявить готовность договариваться. Недавно я провел переговоры с представителями различных политических партий, и у меня создалось впечатление, что это возможно. Без этого вновь образуемому государству пришлось бы довольно трудно.

Разумеется, не исключен и худший вариант. Могу, например, представить себе, что произойдет дробление политической арены, как в Польше, или подмена государства политическими партиями. Мне не дает покоя мысль, что с этой опасностью у нас не слишком считаются. Это связано с разработкой новой конституции и закона о выборах. Мне не по душе, что конституцию, которая не должна быть политизированной, готовят политики. Конституция должна бы быть «техническим руководством» для работающей демократической системы.

Федерация — во всяком случае на бумаге — еще существует. В Словакии в последнее время имеют место резкие нападки на венгров. Есть ли у федеральных органов возможность воспрепятствовать нарушению прав человека братиславским правительством? Как Вы будете реагировать, если произойдет обострение конфликта между венграми и словаками?

До тех пор, пока существует федерация, она обязана следить за соблюдением прав человека и гражданина на всей ее территории. Разумеется, чем слабее федеральная власть, тем хуже она справляется с этой обязанностью. В настоящее время федеральная власть находится едва ли не на положении «диссидента»: она может протестовать, но вряд ли в ее силах что-либо изменить. Словацкое правительство закрепило права меньшинств в своей программе и в данный момент не станет ее нарушать. Однако я считаю весьма серьезным то, что при голосовании о суверенитете Словацкий Национальный Совет подавляющим большинством голосов отклонил предложение, чтобы права меньшинств были гарантированы словацкой конституцией. Это политический сигнал, заслуживающий внимания. Тем не менее пока не был принят новый закон о языке и не изменились границы округов на юге Словакии. Если это произойдет, я буду протестовать точно так же, как против любого нарушения законов, даже будучи рядовым гражданином, не занимающим никакого политического поста. Я поступал так всегда.

Уже два года подряд мы слышим, что взаимоотношения чехов и словаков не таковы, как между народами бывшей Югославии. Однако югославский конфликт начинался именно с таких политических сигналов, какие мы наблюдаем сегодня у нас. Не слишком ли мы оптимистичны, утверждая, что нам «балканизация» не грозит?

Разумеется, я могу себе представить и конфликтную ситуацию, о которой вы говорите. Однако нельзя забывать, что чехи и словаки никогда не воевали друг с другом, как, например, хорваты с сербами. Между нашими народами никогда не было вражды. Кроме того, у нас нет областей со смешанным населением и территориальных споров.

По возвращении с саммита в Хельсинки Вы сказали перед телекамерами, что многие западные политики дали Вам понять, что им было бы жаль, если бы Вы навсегда оставили политическую арену. Не сделали ли Вы такое заявление, опасаясь, что никто из чехословацких политиков и журналистов не пожелает довести эту оценку Ваших иностранных коллег до сведения нашей общественности?

Вы, по-видимому, даете мне вежливо понять, что мне не подобает самому говорить о том, сколь положительно меня оценивают другие. Вы правы, мне пришлось преодолевать себя, чтобы это сказать. Но я пошел на это совершенно сознательно: за два с половиной года, что я занимаюсь высокой политикой, я успел заметить, что излишняя скромность не приводит ни к чему хорошему. Поэтому я рискнул и стал ждать, заметит ли кто-нибудь, что я погрешил против своих прежних правил. Насколько мне известно, это заметили только вы.

Большинство бывших диссидентов объявляло свою политическую ангажированность «вынужденной жертвой», «служением обществу» и т.д. Впервые эту традицию нарушил недавно Ян Румл: отвечая на вопрос, почему он согласился занять пост министра внутренних дел Чехии, он

сказал, что ему это интересно. Можно ли объяснить подобными соображениями и Ваше решение стать в будущем президентом Чешской Республики?

Прежде всего я никогда не говорил, что буду выставлять свою кандидатуру на пост президента Чехии. Я говорил лишь, при каких условиях я мог бы обдумать подобную возможность. Что же касается вашего вопроса, то мне интересно все, что имеет смысл и служит общему благу. В этом отношении мне было интересно как диссидентство, так и президентство. Однако то и другое довольно-таки осложняло мне жизнь. При этом и то и другое я воспринимал как «служение обществу». Иными словами: я не знаю, где грань между удовольствием от работы и служением соотечественникам. Короче, такое служение меня радует.

**Речь при избрании членом Академии гуманитарных и политических наук
(Париж, 27 октября 1992 г.)**

Уважаемый господин председатель,
спасибо за Ваши слова. Меня радует и трогает, с каким пониманием относитесь Вы к моим стараниям и к усилиям многих моих сограждан.

Уважаемые коллеги,
честь, какую вы мне оказали, избрав меня членом прославленной французской Академии гуманитарных и политических наук, означает для меня огромную поддержку в настоящий момент и огромную ответственность на будущее. Ибо если мне предстоит быть одним из вас до конца своих дней, я до конца своих дней должен это оправдывать. Обещаю вам, что я постараюсь.

Считаю своим приятным долгом — в духе замечательной традиции вашей Академии — с уважением вспомнить в эту минуту о моем предшественнике, итальянском экономисте Джузеппе Уго Папи, дело жизни которого, состоявшее, кроме прочего, в создании международных структур экономического сотрудничества, по своему значению шагнуло далеко за границы его родины.

Дамы и господа,
я прибыл к вам из страны, которая долгие годы дождалась свободы. Разрешите же мне воспользоваться этой возможностью, чтобы поразмышлять о феномене ожидания.

Ждать можно по-разному.

На одном полюсе обширного спектра всевозможных видов ожидания находится ожидание Годо, олицетворяющего универсальное спасение. Ожидание многих из нас, живших в коммунистическом мире, бывало часто или всегда весьма близким к этой крайней его форме. Окруженные со всех сторон, скованные и внутренне, так сказать, колонизированные тоталитарной системой, люди переставали видеть выход, утрачивали желание что-либо делать и ощущение того, что вообще что-либо можно делать. Попросту утрачивали надежду. Но они не утратили и не могли утратить потребность надеяться, ибо без надежды не бывает осмысленной жизни. Поэтому люди ждали Годо. Не имея надежды в самих себе, они связывали ее с приходом какого-то неясного спасения извне. Однако Годо — во всяком случае как предмет ожидания — не приходит, потому что его просто не существует. Это лишь подмена надежды. Не надежда, а иллюзия. Плод собственной беспомощности. Заплата для зияющей в душе дыры, но заплатка сама насквозь дырявая. Это надежда людей без надежды.

На другом же полюсе этого спектра находилось ожидание иного рода: ожидание как терпение. Это было ожидание, основанное на осознании того, что говорить правду и этим оказывать сопротивление имеет смысл из принципа, просто потому, что так должно быть и что нельзя строить расчет на том, приведет ли это к чему-нибудь завтра, послезавтра или вообще когда-либо. Такое ожидание питалось верой, что, невзирая на то, оценят ли когда-нибудь эту «правду вопреки», восторжествует ли она или ее задушат, повторение ее имеет смысл само по себе и по меньшей мере означает, что хотя бы кто-то не поддерживает власть лжи. Конечно, за этим стояла (но лишь где-то на втором плане) также вера, что однажды брошенное семя все же примется и со временем даст всходы. Неизвестно, когда. Когда-нибудь. Возможно, уже при жизни новых поколений.

Эта позиция — назовем ее для простоты диссидентской — предполагала и культивировала терпение. Она учила нас ожиданию. Ожиданию как терпению. Как проявлению надежды, а не отчаяния. Можно сказать, что если ожидание Годо не имеет смысла, это самообман и, стало быть, пустая потеря времени, то ожидание этого второго типа имеет смысл: это не сладостная ложь, но горькая жизнь в правде, и при таком ожидании человек не теряет, а насыщает свое время. Ждать, что, быть может, даст всходы добрый по своей сути посев, — это не то же, что ждать Годо. Ждать Годо означает дожидаться, когда перед нами вырастет лилия, которую мы не сажали.

Поймите меня правильно: люди в коммунистическом мире отнюдь не делились на тех, кто знает себе ждал Годо, и на диссидентов. Все мы иногда в известной мере ждали Годо, а иногда в известной мере были

диссидентами. Для кого-то более обычным было первое занятие, а для кого-то, наоборот, второе. Тем не менее из этого, упрощая, можно сделать вывод, что не бывает того или иного ожидания в чистом виде.

Разумеется, я задумываюсь об этом не потому, что испытываю острую ностальгию по прошлому, а с целью выяснить, что значит этот прошлый опыт для настоящего и будущего.

Разрешите мне привести один личный пример. Мною, искушенным в диссидентского типа терпеливом ожидании, основанном на осознании того, что это ожидание имеет смысл, не раз за последние три года — то есть после нашей мирной антитоталитарной революции — вновь и вновь овладевало прямо-таки отчаянное нетерпение. Меня мучило, что перемены происходят слишком медленно, что моя страна не имеет новой демократической конституции, что чехи и словаки никак не могут договориться, будут ли они жить в одном государстве или в двух разных, что мы не слишком спешим приблизиться к западному демократическому миру и его структурам, что мы еще не способны сколько-нибудь разумно разобраться с собственным прошлым, что мы мешаем с окончательной ликвидацией обломков прежнего режима и той нравственной нищеты, которую он по себе оставил.

Я страстно желал, чтобы хоть что-то уже было сделано. Чтобы я хоть что-то из этого списка мог вычеркнуть как проблему решенную, а значит, снятую с повестки дня. Чтобы моя деятельность во главе нашего государства имела наконец какой-нибудь явный, бесспорный, осязаемый, не подлежащий сомнению и, так сказать, заверченный результат. И мне неизменно трудно было смириться с тем, что политика — это бесконечный процесс, подобный самой истории, процесс, о котором, собственно, никогда нельзя сказать, что в нем что-либо раз и навсегда сделано и завершено.

Просто я как будто разучился ждать, ждать тем способом, какой имеет смысл.

И только сейчас, когда у меня есть время взглянуть на все это как бы издалека, я начинаю понимать, что я в своем нетерпении по сути дела поддался ровно тому, что сплошь и рядом подвергал критическому анализу, а именно пагубной поспешности современной технократической цивилизации, основанной на гордом рациоцентризме, с ее заблуждением, будто мир — это просто кроссворд, который надо разгадать, будто разгадать его можно единственным верным — так называемым объективным — способом и будто только от меня зависит, когда я в этом преуспею. Я тоже, сам того не замечая, фактически разделял ложное убеждение, что являюсь полновластным хозяином положения и единственная моя задача — по какому-то заранее заготовленному рецепту это положение улучшить. И что только от меня зависит, когда я это сделаю; так почему бы, следовательно, не сделать этого немедленно?

Короче, я думал, что время принадлежит мне.

Однако это была большая ошибка.

Мир, наше бытие и история имеют свое время, и хотя мы можем творчески вмешиваться в его ход, оно не принадлежит полностью никому из нас. Мир и бытие не повинуются до конца воле технократа или технократического политика и существуют не для того, чтобы оправдывать их расчеты. Они упорно сопротивляются времени политиков, точно так же, как и одномерному толкованию себя. Они имеют свои секреты и преподносят свои сюрпризы, вновь и вновь поражая современный — в сущности следующий традиции Просвещения — разум, как имеют и свое собственное, притом весьма извилистое, русло развития. Стремление перегородить это русло с его неисповедимыми изгибами некоей чудовищной плотинной чреватости многими опасностями, начиная от пересыхания подземных источников и кончая катастрофическими сдвигами в биосфере.

Размышляя о своем политическом нетерпении, я с новой ясностью осознаю, что политик настоящего и будущего — с вашего позволения, я бы сказал: эпохи постмодернизма — должен научиться ждать в самом лучшем и глубоком смысле этого слова. Но ждать не Год. Его ожидание должно свидетельствовать об уважении к внутреннему развитию бытия, к естественному ходу вещей, к их своеобразию и самобытной динамике, отвергающей всякую насильственную манипуляцию, должно исходить из желания дать происходящим событиям возможность проявиться в их истинной сущности. Поведение такого политика не может основываться на безликом анализе, но должно обуславливаться личными наблюдениями. Не может опираться на гордыню, но должно проистекать из смирения.

Мир нельзя взять под тотальный контроль, ибо это не машина. И его нельзя полностью обновить с помощью какого-либо технического проекта. Утописты, которые на это рассчитывают, в итоге сеют еще более глубокое страдание. Разум, абстрагирующий от неповторимой человеческой души, если он становится главным фактором политической деятельности, в конце концов приводит лишь к насилию. Мир отвергает порядок, который навязывает ему мозг, забывший, что сам он является лишь скромной частицей его бесконечного богатства. И чем решительнее и нетерпеливее мы вписываем мир в рамки рациональных категорий, тем более яростными взрывами иррационального он нас поражает.

Да, и я, саркастичный критик всех заносчивых толкователей мира, вынужден был напомнить себе, что мир нельзя лишь объяснять, его нужно еще и понимать. Что мало лишь твердить ему свои собственные слова, но необходимо прислушиваться к многоголосию его часто противоречивых сообщений — и слышать их. Что мало лишь научно описывать механику вещей и событий, но следует пытаться воспринять и на личном опыте познать их душу. Что нельзя полагаться только на график, которому мы подчинили наше воздействие на мир, но следует чтить и несравненно более сложный график, который сам мир для себя выработал и который является общим множителем тысяч неповторимых графиков бесконечного множества природных явлений, исторических событий и человеческих судеб.

Мы не должны ждать Годо.

Годо не придет, ибо его не существует.

Но мы не должны также придумывать себе Годо. Типичным примером придуманного Годо, то есть Годо пришедшего, а значит, ненастоящего, Годо, который якобы призван был спасти нас, но на самом деле лишь губил нас и изничтожал, был коммунизм.

Я с ужасом отдаю себе отчет в том, что в моем нетерпении при воссоздании демократии было что-то от коммунизма. Или — шире — что-то от рационализма Просвещения. Я пытался подтолкнуть историю вперед так же, как ребенок, пытаясь заставить цветок расти быстрее, тянет его вверх.

Думаю, нам нужно учиться ожиданию как творчеству. Учиться терпеливо сеять семена, усердно поливать землю, в которую они были брошены, и давать всходам ровно сколько времени, сколько им требуется.

Так же, как нельзя обмануть цветок, не обмануть и историю. Но почву истории можно поливать. Терпеливо и изо дня в день. Не только с пониманием и смирением, но и с любовью.

Убежден: если политики и граждане научатся ожиданию в лучшем смысле этого слова, то есть ожиданию как проявлению благородного уважения к внутреннему распорядку вещей, глубин которого нам никогда в полной мере не постичь, и если они поймут, что все на свете требует времени и помимо того, чего хотят от мира и истории люди, важно и то, чего хотят сами мир и история, тогда человечество не кончит так плохо, как это иногда кажется.

Дамы и господа,

я приехал из страны, где очень много нетерпеливых людей. Вероятно, их нетерпение объясняется тем, что они слишком долго ждали Годо и теперь думают, что Годо наконец-то пришел. Однако это заблуждение столь же глубокое, как и то, что лежало в основе их ожидания. Никакой Годо не пришел. И это хорошо — ведь приди какой угодно Годо, он был бы лишь выдуманным, коммунистическим. Созрело только то, что должно было созреть. Возможно, оно созрело бы и раньше, если бы мы лучше поливали почву. Теперь же перед нами единственная задача: превратить плоды нынешнего урожая в новый посев — и этот посев опять-таки терпеливо поливать.

Если мы будем уверены, что это добрый посев и что мы хорошо его поливаем, у нас не будет причин для нетерпения. Достаточно будет понять, что наше ожидание имеет смысл.

Ожидание, которое имеет смысл, ибо его питает надежда, а не безнадежность, вера, а не отчаяние, смирение перед течением мирового времени, а не страх перед его невозмутимым покоем, не бывает томительно тоскливым: оно становится внутренне напряженным. Такое ожидание есть нечто большее, чем просто ожидание.

Это и есть жизнь. Жизнь как радостная сопричастность чуду бытия.

Благодарю вас за внимание.

Авторитет и демократия в современном мире (Канберра, 29 марта 1995 г.)

Дамы и господа,
уважаемые присутствующие,

разрешите мне начать с небольшого замечания личного характера: не считая короткого периода в конце шестидесятых годов, я практически всю жизнь не мог выехать за пределы своей страны. За долгие десятилетия я настолько свыкся с этой абсурдной ситуацией, что принимал как должное факт, что мне уже никогда не удастся покинуть тот уголок земного шара, где я появился на свет, и повидать другие страны. То же, что когда-нибудь я увижу столь далекий континент, как Австралия, мне вообще не приходило в голову. Австралия в моем сознании постепенно встала в один ряд с теми недосыгаемыми сказочными краями, куда невозможно ступить, как нельзя ступить на далекую звезду или перенестись в иной век. Но несколько лет назад все изменилось: перед всеми нами открылся мир, и я — как глава нашего государства — начал путешествовать по земному шару. Главный вывод, который я сделал для себя после этого, заключается в том, что наша планета на самом деле очень мала и что от одного места до другого вовсе не так далеко, как мне это представлялось. Тем большее удивление вновь и вновь вызывает у меня то обстоятельство, что люди, населяющие эту маленькую планету, не могут сосуществовать и мирно уживаться, но ведут бесчисленные войны или конфликтуют между собой по самым разным поводам. Так, не раз случалось, что над территорией, из-за которой кто-то с кем-то спорит на протяжении столетий, я пролетал всего за несколько минут! И хотя в ходе государственных визитов я пользуюсь обычным самолетом, а не космической ракетой, я все больше начинаю понимать космонавтов, которые в один голос утверждают, что при взгляде на нашу Землю все земные конфликты кажутся им совершенно ничтожными, никчемными и бессмысленными.

Разрешите же мне — на моем далеко не австралийском, а насквозь чешском английском — поделиться с вами некоторыми мыслями, которые у меня возникают, когда я задумываюсь о том, отчего люди ведут себя так непостижимо и где почерпнуть надежду на то, что они исправятся.

В течение многих тысячелетий человечество жило и развивалось в разных уголках Земли относительно автономно; рождались и гибли культуры и целые цивилизации, которые, на наш нынешний взгляд, были слишком замкнуты сами на себя и изолированы одна от другой; их взаимные контакты были минимальны, а подчас они и вовсе не подозревали о существовании друг друга; практически никакое событие в мире людей не могло мгновенно коренным образом повлиять на весь обитаемый ими мир. Сегодня все не так: в сравнительно небольшой исторический отрезок времени возникла единая глобальная цивилизация, которая охватывает всю планету, пронизывает ее и впитывает в себя, приспосабливает к себе все те культуры или зоны цивилизации, которые так долго развивались автономно. Мне кажется, что большая часть конфликтов и проблем современного мира непосредственно связана с этим фактом, ибо их можно рассматривать как борьбу различных культур — но не с этой цивилизацией, а за самих себя, за сохранение и развитие того, в чем заключается их суть, и того, чем они отличаются от других и что начинают терять. Говорят, мы живем в эпоху, когда каждая долина хочет быть независимой. Иногда действительно создается такое впечатление, и это, надо полагать, вполне естественная реакция на интеграционное и унифицирующее воздействие современной цивилизации. Что создавалась тысячелетиями, вдруг словно начинает сопротивляться, опасаясь, как бы не раствориться через несколько лет в некоем всемирном культурном единообразии. Как известно, если смешать все цвета, то получится серый. Может быть, культуры разных оттенков пытаются таким образом избежать серости в результате их перемешивания в общем котле цивилизации.

Как преодолеть эту противоречивую ситуацию? Где отыскать надежду?

Разумеется, нельзя слепо делать ставку на современную техническую и по своей сути атеистическую цивилизацию как якобы более прогрессивную, чем все исторически сложившиеся разнообразные культурные традиции, которая будто бы представляет высшую ценность в сравнении с ними и во имя которой можно подавлять и истреблять их как нечто мешающее триумфальному шествию истории. Человек — это, кроме прочего, и его прошлое, и борьба с этим прошлым означает также борьбу с человеком. Однако точно так же нельзя сбрасывать эту цивилизацию со счетов, отказаться от всего хорошего, что она несла и несет с собой, и попытаться вернуться в далекие времена родового строя.

Единственный осмысленный и в то же время самый трудный метод — это начать систематически преобразовывать нашу цивилизацию в цивилизацию истинно мультикультурную, которая позволит всем быть самими собой, но вместе с тем никого не лишит возможностей, какие она открывает, и сама будет искать пути не только к взаимно терпимому сосуществованию разных культур, но и к осознанию того, что их объединяет и что может превратиться в общепринятую систему ценностей и норм, которая позволит нам творчески сосуществовать. Я рад вновь подтвердить это мое глубокое убеждение именно здесь, в Австралии, в стране, которая многим могла бы служить примером мультикультурной демократии и которая старается следовать путем, способным указать человечеству выход из той сложной ситуации, в какой оно ныне очутилось.

Главный вопрос заключается в том, где искать источники такого общепринятого минимума, который может стать основой терпимого сосуществования различных культур в рамках единой цивилизации? Для этого мало механически взять свод норм, принципов или правил, выработанных евроамериканским миром, и ничтоже сумняшеся провозгласить его обязательным для всех. Если мы хотим, чтобы люди и впрямь признали эти принципы своими, полностью идентифицировали себя с ними и стали ими руководствоваться, последние должны соответствовать чему-то такому, что у них уже было, что им присуще. Различные культуры либо зоны цивилизации, таким образом, могут иметь лишь то общее, что они действительно воспринимают как общее, а отнюдь не то, что одни просто передали или даже навязали другим. Для того чтобы на Земле действовали некие правила человеческого общежития, они должны основываться на глубинном опыте всех, а не только некоторых. Просто-напросто их нужно сформулировать так, чтобы они были созвучны тому, что люди — именно люди, а не представители той или иной их группы — постигли, извели, пережили.

Думаю, любой непредвзятый человек без труда поймет, в какой области следует искать. Если сравнить древнейшие нравственные каноны, правила человеческого поведения и человеческого общежития, мы увидим, что в своей основе они очень похожи друг на друга. Иногда можно только поражаться тому, что в разных местах и в самые разные эпохи, большей частью совершенно независимо, возникали весьма близкие по сути нравственные нормы. Но интересно не только это. Второй важный момент, которым, возможно, в значительной мере объясняется первый, представляет собой тот факт, что нравственные законы, которые различные цивилизации или культуры поставили во главу угла и которые они по-своему совершенствовали, всегда имели трансцендентальное, или метафизическое, происхождение. Едва ли можно найти культуру, которая не была бы основана на убеждении в том, что существует некий высший, таинственный и недоступный нам закон мироздания, некая высшая воля, из которой все берет начало, высшая память, куда все заносится, высшая сила, перед которой все мы так или иначе несем ответственность. Разумеется, этот закон имел и имеет тысячи конкретных обликов: человеческая история знала много разных богов и божеств и была историей очень многих отличных друг от друга форм религиозности, духовности, обрядности и литургии. Это, однако, ни в коей мере не исключает того, что ключ к тайнам собственного бытия, природы и космоса, как и ключ к собственной ответственности, человек с незапамятных времен искал в том, что вне его и выше его и что он обязан чтить, если не хочет, чтобы весь

его мир разрушился. Эта основа присутствует во всех наших архетипических представлениях и подспудных знаниях — присутствует до сих пор, вопреки тому, что современная цивилизация так явственно отчуждает нас от всего этого. Она подрывает наше преклонение перед тайнами бытия, но в то же время некоторые ее последствия ныне изо дня в день убеждают нас в том, что утрата почтения к этим тайнам ведет к гибели. Как бы то ни было, все это недвусмысленно подсказывает нам, где искать то, что нас объединяет: в осознании идеи трансцендентального.

У меня нет никакого конкретного рецепта, как эту идею, общую для всего человеческого рода, каким-либо способом, отвечающим нынешней эпохе и в то же время универсальным, то есть приемлемым для всех, оживить или извлечь из недр, куда она была загнана. Однако где и в какой связи бы я об этом ни задумывался, я всякий раз, сам того заранее не ожидая, прихожу к выводу, что единственно возможным путем к сосуществованию на нашей планете и вместе с тем к спасению человеческого рода от различных угроз цивилизации пролегает именно здесь. Его суть заключается в некоей реконструкции способности человека воспринимать то, что выше его и что сообщает смысл окружающему его миру и его жизни.

Достоевский писал, что там, где нет Бога, все дозволено. Мне кажется, современная цивилизация полагает, будто ей все дозволено, ибо — упрощенно выражаясь — утрачивает понимание того, что над миром парит некий дух. Дух мы признаем лишь свой собственный.

Сколь бы различными путями ни развивались в истории отдельные цивилизации, религии и культуры, где-то в глубинном слое большинства из них всегда можно найти одну и ту же главную идею: что человек обязан чтить Бога как сущность, которая выше его, что люди должны уважать друг друга и не вредить своим ближним.

Убежден, что в осознании этой идеи кроется единственно возможный выход из кризиса, в каком находится нынешний мир. При этом такое осознание должно быть непредубежденным и в то же время критичным — невзирая на лица, каких подобная критика может коснуться.

Дамы и господа,

я попытаюсь проиллюстрировать эту мою, быть может, слишком общую мысль одним примером.

Евроамериканский мир в новое время выработал довольно цельную ценностную систему человеческого общежития, служащую в наши дни некоей основой международного сосуществования вообще. Ее элементами являются идея прав и свобод человека, исходящая из уважения к неповторимой человеческой сущности и к ее достоинству, демократия, базирующаяся на разделении законодательной, исполнительной и судебной власти, политический плюрализм и свободные выборы, соблюдение права собственности и законы рыночной экономики. Этой системе, естественно, привержена Чешская Республика, как и я сам.

Вместе с тем в разных частях земного шара, в том числе и в тихоокеанском регионе, раздаются голоса, которые ставят данные ценности под сомнение, объявляя их изобретением лишь одной культуры, неприменимым без необходимых поправок в условиях других культур. В подтверждение того, что эти ценности сомнительны или же недостаточны, само собой, указывают на многочисленные кризисные явления на Западе. Один из типичных аргументов при этом — будто западная демократия переживает глубокий кризис авторитета, а без уважения к авторитету, гарантирующему порядок, всякое общество распадается.

Утверждающие подобное, с одной стороны, по-своему правы, а с другой — не правы.

Правы они в том, что западный мир переживает кризис авторитета. Это и впрямь так, и я как человек, сравнительно недавно соприкоснувшийся с большой политикой и наблюдающий ее изнутри, ежедневно с утра до вечера сталкиваюсь с тем, что общественность, других политиков и, конечно же, средства массовой информации интересуется скорее то, как подорвать авторитет того или иного политика, а не то, должен ли он вообще пользоваться авторитетом. Лично мне это ничуть не мешает — хотя бы уже потому, что никто не может усомниться во мне более, чем я сам. Однако то, что такова ныне политическая реальность, меня весьма беспокоит, ибо я вижу, что без определенного авторитета политиков не бывает и авторитета государства и различных его институтов, а это, бесспорно, оказывает неблагоприятное воздействие на общество.

Но есть ли этот кризис авторитета следствие демократии? И означает ли он, что авторитарный режим, диктатура или вообще тоталитарная система все же лучше?

Конечно, нет.

Этот кризис авторитета представляет собой не что иное, как одно из многих тысяч последствий общего кризиса духовности в современном мире. Человек сегодня утратил почтение к высшему авторитету — назовем его вневременным — и потому с закономерностью теряет уважение не только к каким бы то ни было земным авторитетам, но и к своим ближним, а в конце концов и к себе самому. Утрата трансцендентальной «точки пересечения», к которой устремляется все земное, неизбежно ведет к краху всей структуры земных ценностей. Человек утратил то, что я когда-то назвал для себя абсолютным горизонтом, поэтому все стало для него относительным. Если он не чувствует себя ответственным перед вечностью и вездесущим авторитетом, то для него уже не существует никакой ответственности. В том числе и ответственности по отношению к человеческому сообществу и его авторитетам. Иными словами, эта проблема не политическая, а философская. При этом поблекший или обветшалый демократический авторитет все же в тысячу раз лучше, чем насквозь искусственный, утверждаемый путем насилия или оболванивания авторитет диктатора.

Демократия — это открытая система, способная тем самым сколь угодно совершенствоваться. Свобода открывает простор и для ответственности. И если такой простор недостаточно заполнен, то это не вина демократии. Наоборот, это вызов ей. Диктатура же не открывает простора для ответственности, а следовательно, и для возникновения настоящего авторитета. Наоборот, она «закрывает» это пространство, заполняя его ложным авторитетом диктатора.

Потенциальные диктаторы, разумеется, знают о кризисе авторитета в демократических государствах, и чем менее способен современный атеистически мыслящий человек прислушаться к вызову демократии и заполнить простор, ею открываемый, подлинной, неоспоримой ответственностью, тем быстрее его заполнит и в конце концов наглухо «заткнет» своим весом диктатор как мнимое воплощение общей ответственности. Гитлер, Ленин или Мао — типичные примеры таких диктаторов. Всецело заполнив это пространство насквозь лживым содержанием, они вообще ликвидируют его, а тем самым ликвидируют и демократию. Кто не знает, чем это кончается: гекатомбами мертвых, замученных и униженных! Итак, если демократия открывает путь к созданию авторитета, то авторитарный режим воздвигает на этом пути чудовищное ограждение — карикатуру на авторитет.

Экзистенциальная революция, как я однажды позволил себе назвать, несколько метафорически, процесс пробуждения глубинной человеческой ответственности, основанной на связи с Абсолютом, имеет куда лучшие шансы в условиях свободы и демократии, на вызов которых она может ответить, чем в ситуации, когда всякую свободу и ответственность узурпировал диктатор, предоставивший остальным охотникам нести свою долю ответственности простор иного рода: тюремную камеру.

Так что западный мир нельзя укорять за демократию, которая — хотя, конечно же, в различных формах — представляет собой ныне единственно возможный путь для всех нас. Его можно упрекать лишь в том, что он недостаточно сознает и блюдет это свое великое достижение. Что, парализованный общим нравственным кризисом современной цивилизации, он не способен воспользоваться возможностями, какие дает ему это достижение, и заполнить должным образом пространство, которое оно открывает. Что тем самым оно вновь и вновь провоцирует всяких безумцев на то, чтобы, покончив с демократией, устраивать мировые катастрофы.

Что из этого следует? Что нет никаких оснований бояться демократии как системы, которая ниспровергнет все авторитеты и приведет к всеобщему разложению. Каждый, кто хочет не допустить этого, может выбрать другой путь: воспринять демократию как призыв к ответственности и вдохнуть в нее или вернуть ей тот духовный смысл, какой она имела при своем рождении. Задача эта требует нечеловеческих усилий, но она выполнима, причем именно потому, что демократия — система открытая.

В других культурных ареалах, где демократия еще слабо укоренилась или не укоренилась вовсе и где, соответственно, свободная личность — ничто, а властитель, наоборот, все, диктаторы зачастую ссылаются на тысячелетние традиции авторитаризма в их странах и оправдывают методы своего правления необходимостью опираться на эти традиции.

Они опять-таки кое в чем правы и в то же время заблуждаются. Ведь их якобы опора на стародавние традиции на самом деле есть не что иное, как отказ от них: ссылаясь на естественный авторитет, каким в их культурных системах пользуется властитель, они подменяют его неестественным авторитетом. Вместо авторитета, проистекающего из харизмы, то есть из внутренне осознанной и признаваемой всеми высокой миссии, который характеризуется, кроме прочего, величайшей ответственностью перед этой миссией, они утверждают всецело светский авторитет кнута.

Итак, если — упрощая — Восток может воспринять от Запада демократию и другие неразрывно связанные с нею ценности в качестве некоего пространства, где вновь пробуждающееся чувство трансцендентального способно привести к возрождению истинного авторитета, то Запад имеет исключительную возможность поучиться у Востока тому, в чем состоит такой авторитет и в чем он проявляется, каковы его истоки, чтобы затем привить его в том пространстве человеческой свободы, какое он создал. Я имею в виду, в частности, Конфуция, у которого мы находим прекрасное описание того, что такое истинный авторитет. Право же, сформулированные им нормы имеют очень мало общего с представлениями современных «диктаторов кнута». Для него авторитет — главы ли семьи или правителя страны — есть метафизический дар, сила которого коренится не во всемогущих инструментах власти, а в высочайшей ответственности. Стоит изменить этой своей харизме — и она тебя покинет.

Можно сказать, что противопоставляемые многими Восток и Запад кое в чем имеют ныне общую судьбу: тот и другой изменяют собственным глубинным духовным корням. Если бы они смогли вновь приникнуть к ним и вкусить их питательных соков, они бы не только сами почувствовали себя лучше, но и стали бы лучше понимать друг друга.

Этот небольшой пример того, что Запад способен дать Востоку, а Восток — Западу, подтверждает прежде всего, что поиск общих принципов и целей может быть полезен для всех и что при этом никому не грозит потеря собственного лица. В то же время он говорит о том, что такой поиск немыслим в отрыве от первоначальных, но издавна предаваемых забвению трансцендентальных корней наших культур. Несомненно, в нравственных законах античности, иудаизма и христианства, без которых Запад едва ли пришел бы к современной демократии, можно обнаружить куда больше переключек с Конфуцием, чем нам кажется и чем думают те, кто, ссылаясь на конфуцианскую традицию, осуждает западную демократию.

Дорогие друзья,

надеюсь, несмотря на мой «чешский» английский и, главное, на несколько упрощенную форму моего выступления, в котором я попытался в нескольких фразах обобщить кое-какие мои мысли, касающиеся современного мира, вы поняли, что я хотел сказать. А именно: что единственный шанс для нынешней цивилизации я вижу в ясном осознании его мультикультурного характера, в решительном повороте ее вглубь и в поиске общих для всех культур духовных корней, объединяющих все человечество. На этой основе можно будет заново, лучшим образом, сформулировать те нормы, которые позволят нам мирно жить вместе, ничуть не поступаясь своей самобытностью. То, что с этого для нас может начаться совершенно новая эпоха «взаимного вдохновения», вполне очевидно. Однако подобное предполагает подлинную открытость, волю к взаимопониманию и способность освободиться от плена наших предрассудков и стереотипов. Ведь тождество с самими собой — это не тюремное заключение, а обращенный ко всем остальным призыв к диалогу.

От всей души приглашаю вас в Чешскую Республику, маленькую страну, расположенную в самом центре Европы. Желаю, чтобы путь ваш не пролегал над полями сражений и чтобы вы почувствовали то же, что ощущаю во время своих поездок я сам: что наша планета очень мала, что она пока еще прекрасна — и как же бессмысленно, когда те, кому суждено совместно жить на ней, оказываются неспособны на это, хотя любовь к ближним составляет главную заповедь всех их взаимно конфликтующих культур!

Благодарю за внимание.

Благодарственная речь при присуждении звания почетного доктора Академии изящных искусств (Прага, 4 октября 1996 г.)

Господин ректор,
дамы и господа,
уважаемые коллеги,

некоторое время назад я прочел в одной газете статью, озаглавленную «Политика как театр». В ней содержалась вполне убедительная и довольно-таки уничтожающая критика всей моей политической деятельности. Основная мысль статьи заключалась в сущности в констатации того факта, что политика — дело серьезное и в ней неуместны всякие там штучки из области театра, который всецело относится к «надстройке». Очень может быть, что кое в чем автор статьи был прав. Я признаю, что в первые месяцы моего президентства меня и впрямь не раз осеняли идеи скорее театральные или драматургически интересные, чем политически прозорливые. И все же я думаю, что кое в чем существенном автор сильно ошибся, что он совершенно не понял ни истоков и смысла драматического искусства и театра, ни одной из важнейших составляющих политики.

Вы несомненно поймете, почему именно я, человек, которого судьба в одну ночь перенесла из мира драматического искусства в мир большой политики, хочу воспользоваться этим торжественным моментом, чтобы высказать несколько замечаний о драматической и театральной составляющей политики.

Представляется — и современные исследования древнейшей истории рода человеческого это подтверждают, — что одним из главных факторов, способствовавших самоосознанию человека, была новая картина мира, которая открылась нашим первобытным предкам в ту пору, когда они распрямились и сделали двуногими. Именно тогда все окружающее их начало обретать новую структуру и в конце концов превратилось в то, что мы сегодня называем миром. Из ранее неструктурированного окружения стали постепенно вычлениваться понятия «сверху» и «снизу», «слева» и «справа», «далеко» и «близко». Стало ясно, что солнце восходит не там, где заходит, и что его движение по небосводу, а тем самым и смена дня и ночи подчиняются некоей закономерности и логике. Этот процесс превращения просто окружающего в мир фактически дал начало человеческому представлению о пространстве и времени (сегодня мы называем это «хронотопом»), как о чем-то таком, что скрывает в себе некий порядок. По словам одного замечательного ученого, уже к тем временам, то есть к периоду начала человеческого самоосознания в мире и начала восприятия мира как такового, восходит религиозное мышление человека. Это более чем понятно: ибо как иначе было нашим предшественникам объяснить тот факт, что мир — это не только территория их обитания и источник пищи, но что он подчиняется своим таинственным законам, кроме как предположив, что есть некое место, откуда эти законы исходят, или сущность, которая их дает? Не вполне понятный, но в любом случае мудрый порядок вещей должен определяться чьей-то волей, ведь не мог же он возникнуть сам по себе! А если существуют один или несколько таинственных космических партнеров, то как мог человек не искать способов, позволяющих с ними общаться?

Таким образом, осознание временной и пространственной структуры, композиции, порядка — а значит, и отклонений от этого порядка или его нарушений — являет собой неотъемлемую составную часть человеческого бытия как существования в мире и сопутствует ему, начиная с момента его зарождения, которому такое осознание заметно способствовало. Без него трудно представить разумное существо, то есть человека.

Это сознание есть источник человеческой духовности и религиозности, которые, как выясняется, сопровождают человека дольше, чем считалось до недавнего времени. Позволю себе добавить к этому, что такое сознание является также источником или первоосновой драматического искусства и театра и что

некое чувство драматического, или театрального, если это можно так назвать, равным образом сопровождает человека с той поры, когда он начинал становиться человеком. При этом не важно, что долго не существовало ни самостоятельных феноменов культуры, ни тем более жанров искусства. Иными словами: то, что мы сегодня подразумеваем под драмой и театром, представляет собой лишь одно из многих поздних культурных проявлений фундаментального опыта человека в мире и его восприятие самого себя. Но уже с тех пор как человек стал понимать, что одно может наступить раньше, а другое позже, что некоторые явления могут повторяться и между ними могут быть различные взаимосвязи, что хронотоп, а стало быть и мир, имеют определенное членение, он тем самым, по сути дела, начал приобщаться к драматическому. Когда же человек стал посредством определенных обрядов общаться с силами, ответственными, по его мнению, за миропорядок, он фактически узнал театр. Ибо не является ли драма попыткой в концентрированном виде познать мир, уловив логику его времени и пространства? И не заключены ли основные элементы драмы, начиная с экспозиции и кончая катарсисом, уже в ритме смены времен года? И не выступает ли театр преемником магии — как попытки на ритуальном языке общаться с тайными силами, которые правят миром? Аристотель, написавший, что всякая драма или трагедия должна иметь начало, середину и конец и что последующее в ней должно вытекать из предыдущего, выразил именно то, о чем я сейчас говорю: что драма является особого рода попыткой уловить логику хронотопа, а следовательно, и логику бытия.

Мир как структурированное окружение уже по самой своей сути имеет драматическую составляющую; драма же есть не что иное, как проявление нашего стремления ее сжато отразить. Ведь всякая пьеса, даже длящаяся всего два часа, воссоздает — или пытается воссоздать — весь мир и что-то о нем сообщает.

А что такое политика?

Традиционное определение гласит, что политика — это забота об общественных делах и управление ими, что логически подразумевает заботу о человеке и мире, в котором он живет. Последняя в свою очередь предполагает необходимость понять человека, воспринять все слагаемые его самоосознания в мире. И я не представляю себе, как может политик сделать это, не восприняв также драматический компонент самоосознания людей, то есть драматическое как один из существенных аспектов мира, каким он видится человеку, и как один из главных инструментов человеческого общения. Политика, лишенная начала, середины и конца, экспозиции и катарсиса, развития, напряжения и воздействия, а прежде всего широты, которая превращает конкретную пьесу о конкретных персонажах в сообщение о мире вообще, это, по моему глубокому убеждению, выхолощенная, колченогая, беззубая, а стало быть, плохая политика. Разумеется, этим я не хочу сказать, что сам — как объект критики автора вышеупомянутой статьи — успешно провожу или умею проводить иную политику. Я говорю только о том, какая политика представляется мне осмысленной: политика, для которой не безразлично, что одно следует за другим и все имеет свою последовательность и порядок, и которая сознает также, что граждане, пусть и не теоретизируя так, как я сейчас, отлично видят, обладает ли политика четким направлением, структурой, логикой времени и пространства, имеет ли определенную градацию, а стало быть, и силу воздействия — или она всего этого лишена и является лишь сумбурной реакцией на случайные импульсы, какие посылает жизнь.

Театр и драматическое искусство представляют собой символы хронотопа. В пределах ограниченного пространства сцены и ограниченного промежутка времени, посредством ограниченного числа персонажей и театрального реквизита они сообщают нечто о мире вообще, о его истории, о человеческом бытии и пытаются — как наследники древних обрядов — через особый взгляд на мир и его законы воздействовать на него. Короче говоря, театр — это всегда знак, причем концентрированный. Безграничное богатство и непостижимое многообразие бытия он воплощает в лапидарном шифре, который, с одной стороны, упрощает действительность, а с другой — стремится извлечь из материи всего сущего самое главное, ее квинтэссенцию, и донести весть об этом до человека. Впрочем, примерно тому же предается с утра до вечера любое думающее существо, которое ораторствует, занимается исследованиями, пишет, размышляет... Ибо театр — это лишь одна из форм, в каких проявляется основополагающая человеческая способность к обобщению или к постижению сокровенного порядка вещей. Ведь все, что мы говорим (это относится и к данным моим заметкам), есть одновременно безнадежное упрощение событий и попытка выудить из их необъятного потока нечто существенное и не всегда заметное на первый взгляд.

Однако драматический или театральный символ характеризуется еще кое-чем. Например, особой недосказанностью или смысловой многозначностью, так как в конкретном спектакле неизменно воплощена некая более общая весть, но она напрямую не вербализована, а просто театральное действие так или иначе излучает ее и позволяет ощутить. Кроме того, спектакль представляет собой событие, ограниченное во времени и пространстве. Иными словами, это моделируемая человеком частица жизни, ставящая своей целью выразить нечто о жизни вообще. Важен также коллективный характер театрального восприятия: спектакль всегда предполагает известную общность, которая совместно переживает происходящее на сцене, и ее впечатление заранее предопределено этим обстоятельством.

Все эти вещи вам как специалистам по театру отлично известны и для ваших ушей звучат едва ли не банально; однако они находят соответствие и в политике. Один мой друг как-то сказал, что политика — это «концентрированное все». Это право, экономика, философия и психология. Но это с неизбежностью также и театр. Театр как знаковая система, которая апеллирует ко всей человеческой сущности, к человеку как члену

сообщности и посредством микродействия, ее воплощающего, сообщает нечто о великом действе жизни и мира, пробуждая свойственным ей способом человеческое воображение и чувства.

Я не представляю себе, как может политика добиться прочного успеха без осознания этих вещей.

Попытаюсь проиллюстрировать это положение на нескольких примерах.

Уже в государственной и исторической символике, с которой политика непременно имеет дело, есть что-то от драмы или театра. Государственный гимн, флаг, ордена, государственные праздники и так далее — все это само по себе значит не слишком много. Однако их значение для людей и ассоциации, какие они вызывают в человеческих умах, представляют собой весьма важный инструмент самоосмысления и самоидентификации общества, осознания его преемственности; более того, эти символы государственности определенным образом соотносятся даже с такими чувствами, как национальная гордость, готовность защищать родину или благодарность общества тем, кто для нее что-то совершил.

Но дело, конечно, не только в этой внешней символике. Политика «заряжена» символами и во многих других областях. Если, например, германский президент, нанося визит в Прагу вскоре после революции, приезжает ровно пятнадцатого марта, в годовщину начала нацистской оккупации, то ему незачем произносить долгие речи: сам этот факт красноречиво говорит за себя, точно так же, как прибытие французского президента и британского премьер-министра в годовщину мюнхенского сговора. И если в небольших городках Центральной Европы, может быть впервые в обозримой истории этого региона, регулярно проводят встречи на высшем уровне представители всех существующих центральноевропейских стран, то не скажи они друг другу хоть совсем ничего, сам факт этих встреч политически символичен.

Могу признаться, что большая часть моего рабочего дня бывает заполнена участием именно в такой «знаковой политике». Ведь я встречаюсь с многими моими соотечественниками или иностранцами не потому, что именно в данный конкретный день должен обсудить с ними неотложные дела, а просто чтобы встретиться и чтобы само это событие что-то выражало. Не скрою, иногда это бывает мне не по душе, но я хорошо сознаю, что это неотъемлемая составная часть политики и что было бы полным абсурдом отказываться от тех или иных встреч только потому, что у меня нет ничего конкретного для разговора с данным лицом.

Все эти и другие политические символы — а разные подобные примеры я мог бы перечислять еще долго — во многих отношениях действительно больше всего напоминают театр. У них есть своя недосказанность, смысловая нечеткость, своя сила воздействия; это тоже лапидарный шифр, затрагивающий всякий раз, пусть неявно, некоторые существенные взаимосвязи; они тоже имеют свои ритуальные, тысячекратно испытанные и общепринятые рамки.

Но для того чтобы то или иное политическое событие действовало как символ и выполняло тем самым свою важную роль, о нем должны знать. Особенно сегодня, в эпоху масс-медиа, действует правило: что не получило должного «паблисити», желательнее на телевидении, того как бы и не было.

Даже если кто-то подвергает сомнению значение хронотопической архитектуры в политике и смысл политических символов или ритуалов, он не может отрицать присутствие драматического и театрального начала в политике, заключающегося в наши дни в ее зависимости от средств массовой информации. Мы живем в эпоху, когда, например, американским президентом не может стать человек, не способный в то же время сделаться телезвездой; когда политики имеют специальные агентства, которые создают им имидж; когда многие политики не могут обойтись без уроков поведения в телевизионной студии и занятий по риторике; когда многие из них превращаются просто-напросто в рабов масс-медиа, улыбаются скорее камере, чем людям, и даже детей гладят по головкам главным образом перед камерами, да еще и вставая при этом так, чтобы выглядеть наиболее телегенично. Другие политики проводят значительную часть жизни в обществе влиятельных журналистов, понимая, что куда важнее всех их политических устремлений то, как о них напишут творцы общественного мнения. Тем самым по существу все политики, включая тех, кто презирует театр, видя в нем всего лишь часть «надстройки», которая служит просто украшением, приправой к жизни и которой нечего делать в политике, волей-неволей становятся актерами, драматургами, режиссерами или эстрадными исполнителями.

Как бы к этому ни относиться, по крайней мере в данной области все мы должны признать своеобразное присутствие драматического искусства в политике.

Впрочем, огромное значение чувства драматического и театрального в политике — вещь весьма неоднозначная и коварная. Тот, у кого есть это чувство, может подвигнуть общество на великие и угодные Богу свершения, может культивировать в нем демократическую политическую культуру, гражданское мужество и ответственность, но точно так же он может пробуждать в людях самые низменные инстинкты и страсти, электризовать толпу и увлекать ее в пропасть. Из всех возможных примеров достаточно будет привести один: нацистское умение организовывать впечатляющие зрелища. Вспомним о массовых съездах НСДАП с факельными шествиями и другими церемониалами, которыми они сопровождались, вспомним о пламенных речах Гитлера и Геббельса, о нацистском культе германской мифологии, о разработанной Герингом униформе. Едва ли можно найти более чудовищное применение театральности в политике. Скольких людей это в свое время привлекло! И речь идет не только о нацизме или о коммунизме. Также в наши дни — причем даже в Европе — можно назвать многих правителей, которые используют весь гигантский арсенал театральных и драматических средств для того, чтобы возбуждать слепой и тупой

национализм, закономерным завершением которого являются войны, этнические чистки, ужасы концлагерей и геноцид.

Да, без театральности, драматического начала политике не обойтись. Но именно театральность и драматическое начало в политике могут выступать также самым эффективным инструментом ее вырождения.

Где же грань? Где кончается законное уважение к национальной самобытности, истории, к государственным символам и начинается дьявольская пляска крысоловов, черных магов и гипнотизеров толпы? Где кончается достойное восхищения искусство произносить проникновенные речи и начинается безбожная демагогия или просто дешевое шутовство? Как распознать, когда сочувственное внимание к драматической структуре человеческого бытия и к естественной потребности людей коллективно совершать определенные объединяющие их обряды начинает превращаться в грубое манипулирование, наносящее удар по свободе человека и ведущее к всеобщему несчастью? Боюсь, современная наука не знает точных методов распознавания этой грани. Поэтому остается только полагаться на такие нечеткие понятия, как здравый человеческий разум, чувство меры, вкус, чутье, инстинкт, совесть и ответственность.

И тут мы наталкиваемся на одно существенное различие между театром как родом искусства и театральным компонентом политики. Безумное шоу каких-нибудь фанатиков составляет часть пестрого спектра культуры, никому особенно не угрожает и скорее, наоборот, подкрепляет культурный плюрализм и способствует формированию пространства свободы. Безумное шоу фанатичных политиков, однако, может ввергнуть в пучину бедствий миллионы людей.

Тем самым я перешел к своей излюбленной теме — теме особых требований, предъявляемых политикой к совести и ответственности. Но это уже не та тема, о которой я сегодня хотел говорить.

Поэтому я закончу. Благодарю вас за честь, которая мне сегодня была оказана, и за внимание, с каким вы меня выслушали.

Речь при вручении диплома Почетного доктора Национального Университета им. Тараса Шевченко (Киев, 1.7.1997 г.)

Господин ректор,
дамы и господа,
уважаемые присутствующие,

разрешите мне воспользоваться сегодняшним торжественным моментом, чтобы поразмышлять о некоторых проблемах нынешнего мира, как они видятся мне, когда я слышу название двух городов, находящихся на территории современной Украины. Эти города — Чернобыль и Ялта.

Чернобыль я воспринимаю прежде всего как серьезное предостережение. Это название как будто говорит современному человеку, что все великие открытия, какие совершил его головокружительно развивающийся рационалистический разум, хотя и способны значительно облегчить ему жизнь, но в то же время могут неслышанным прежде образом поставить ее под угрозу, если человек не попытается вместе с тем культивировать в себе также и ответственность за мир. Это название как бы предупреждает нас, что, прикасаясь к самой тайне материи, мы прикасаемся к сокровенной сути мироустройства, которая выходит далеко за рамки научно познаваемого и которую мы должны почитать во всех ее проявлениях, если не хотим в конце концов пасть жертвой своего гордого заблуждения, будто, открыв что-то частное, мы постигли все мироздание.

Сегодня я смог посетить покинутый, мертвый и зараженный город, в котором остановилось время. В таком зараженном и несвободном пространстве жили до недавнего времени граждане и народы значительной части Европы, которую распинал тоталитарный режим. Предостережение против гордыни рационального разума — это в то же время и предостережение против гордыни социальных инженеров, полагающих, что лучшую и более свободную жизнь рода человеческого можно обеспечить лишь сверху, научно ее планируя. Мы, на собственном опыте испытавшие, что такое коммунизм, хорошо знаем, к чему приводят подобные представления: к мертвым искусственным городам, к гигантским и в конце концов бездействующим плотинам с гидростанциями, которые навсегда разрушают всю естественную экосистему, к безграничной и по существу анонимной, а тем самым безответственной власти централизованного государства, которое решает, в каких условиях и где мы будем жить, в каких условиях и где работать, в каких условиях и где отдыхать, а в итоге к пустоте и серости жизни, лишенной своей неповторимости, то есть чего-то иррационального, внесистемного и, стало быть, ненужного.

Чернобыль несет в себе и иной важный смысл: напоминая нам, что радиоактивность не знает государственных границ, он с новой и невиданной силой напоминает нам еще и о том, что все мы так или иначе знаем, но никак не можем извлечь из этого соответствующий урок — что человечество сегодня, впервые в своей истории, живет в условиях единой взаимосвязанной цивилизации, охватывающей всю планету, и что наши судьбы, может быть, в большей степени, чем мы думаем, сплетены в одну. Что бы сегодня ни случилось где бы то ни было, это касается всех, в плохом или хорошем смысле. Этот факт взывает ко всем обитателям нашей планеты — и, разумеется, к политикам, пытающимся создать такой мировой порядок, который бы лучшим образом отвечал состоянию и нуждам современного мира.

Книг или эссе, анализирующих ход и итоги знаменитой ялтинской конференции, столько, что из них уже можно было бы составить солидную библиотеку. Большинство авторов сходится в том, что представители стран-победительниц не разграничивали там сферы влияния в послевоенной Европе и что Запад ни в коей мере не отдавал те или иные государства во власть Сталину, тем самым отказав им в праве самим демократически определить свое будущее. Как бы то ни было, слово «Ялта» живет своей собственной жизнью и уже долгие годы служит символом великодержавного раздела мира, символом такого положения дел, когда большие и могущественные решают судьбу малых и слабых, не спрашивая их мнения и желания, символом недопустимых прагматических уступок или компромиссов демократических правительств перед лицом превосходящего их силой тоталитарного режима.

Я хотел бы поговорить о Ялте не как об историческом факте, но как о символе, коим она стала независимо от реального хода конференции, которая в этом прекрасном городе некогда состоялась.

Десятки лет наш мир жил «под колпаком» его биполярного разделения, будучи расчленен на два ценностных идейно-политических державных лагеря, которые внутренне были в той или иной мере скреплены, хотя разными скрепами, и оба всячески старались усилить свои позиции. Под этим «колпаком», однако, мир развивался, и в наши дни он, само собой, уже совсем не тот, что во времена появления железного занавеса. Падение последнего, вызванное кризисом и в конце концов неизбежным коллапсом не просто коммунистического владычества над значительной частью планеты, но прежде всего тоталитарной системы как таковой, внезапно обнажило реальные очертания современного мира и показало всю глубину проблем и новых опасностей, с которыми он вынужден бороться.

Эта ситуация требует нового глубокого осмысления нынешнего положения дел, поиска новых моделей и форм общемирового сосуществования и устройства.

Как ни трудно было свобододобивым и демократическим силам одержать верх над тоталитаризмом и выиграть тем самым холодную войну, неизмеримо труднее будет им выиграть также мир, то есть найти и провести в жизнь оптимальные способы нового сосуществования государств и народов на нашей планете, такого сосуществования, которое бы лучшим образом отвечало реальному современному положению вещей.

Одним из множества разнообразных принципов, каким всем нам следовало бы руководствоваться при решении этой большой задачи, является, по моему убеждению, максимально возможное уважение международным сообществом свободной и демократически выражаемой воли отдельных народов и государств, которые должны иметь полное право самим определять свою будущую судьбу, свои международные отношения, то, частью чего они себя ощущают или хотят быть. Чем в большей степени новое мироустройство будет уважать эту аутентичную волю, разумеется, так, чтобы это не шло вразрез с законной волей других народов, тем стабильнее оно будет. Опыт последних десятилетий и, я бы даже осмелился сказать, опыт всей истории учит, что всякий порядок, который одни навязали другим, раньше или позже должен рухнуть, потому что нельзя все время идти против естественного течения жизни. При этом за такое падение неестественных порядков приходится иногда платить такую же большую цену, какая была заплачена за их насильственное установление.

Иными словами: впредь не должна бы уже повторяться никакая Ялта — в том смысле, что значит это слово как символ. Судьбу различных народов и стран не должны решать другие, во всяком случае не выяснив вначале законного и свободного волеизъявления этих народов и не уважая его.

Это, кроме всего прочего, означает, что ни одному государству нельзя отказывать в праве принять свободное решение, к какому региональному союзу — политическому, оборонному или экономическому — оно хочет примкнуть. И то, войдет ли оно действительно в такой союз, должно зависеть не от геополитических интересов других, а исключительно от его объективно подтвержденной готовности принять различные стандарты подобных союзов и соблюдать принципы, на которых они основываются.

Легко видеть, что название Ялта — как и Чернобыль — имеет для меня значение, выходящее далеко за рамки Украины. Это предостережение, или напоминание, всему человеческому сообществу.

Дамы и господа,

как вы, несомненно, поняли из моих предыдущих рассуждений, я убежден, что современное человечество живет в пространстве единой глобальной цивилизации и поэтому не способно успешно противостоять всевозможным серьезнейшим опасностям, с которыми оно сталкивается, если не осознает масштаб и глубину глобального контекста всех своих начинаний, а также масштаб и глубину ответственности, какую оно несет.

Эту новую ответственность, конечно же, не вызовет к жизни ни одна — даже самая хитроумная — техническая инструкция, как лучше действовать, как лучше организовать наше сосуществование. Наоборот: только возрождение человеческой ответственности способно вызвать к жизни подобные идеи, и лишь она может дать гарантию их воплощения.

Где следует искать потенциальные источники такой новой ответственности?

Я не представляю себе иной области, где можно было бы искать их, кроме области духовного опыта человеческого рода, который тысячелетиями накапливался различными религиями и культурами. Эти религии и культуры на сегодняшний день могут существенно отличаться друг от друга, однако в их первоисточках можно отыскать поразительное множество сходных моментов, начиная от уважения к законам природы и космоса и их Творцу и кончая сводом нравственных императивов, в которых нам эти законы даны.

Мне кажется, что в эпоху, когда мы вступаем в мир поистине мультикультурный и многополюсный, который с неизбежностью должен основываться на воле к сосуществованию различных сфер культуры и цивилизации и на их взаимном уважении, крайне важно найти подобные сходные моменты и вывести из них некий духовный, нравственный и политический минимум того, что могли бы разделять все. Этот минимум и послужил бы своего рода идейной почвой для решения главной задачи нашего времени — поиска новой глобальной человеческой ответственности.

Иными словами: перед лицом предостережений, какие знаменуют для нас Чернобыль и Ялта, мы как индивиды и как сообщество должны искать в нашей истории, в наших душах и глубинном опыте нашего общения с миром и самими собой то, что выходит за рамки простого рационального или научного познания мира, как и за рамки иллюзий разного рода чернобыльских социальных инженеров и ялтинских геополитических стратегов, и что способно воскресить наше тающее уважение к потаенным законам вселенной и к неповторимой человеческой сущности, к своеобразию отдельных культур и сообществ. Воскресить смиренное осознание того, что все мы — лишь частицы этой вселенной, а не ее господа.

Дорогие друзья,

я нахожусь в славных стенах Университета имени Шевченко, знаменитого своими традициями борьбы за национальную самобытность Украины, за человеческую и гражданскую свободу. Поэтому, полагаю, будет уместно, если в заключение я скажу несколько слов о том, как мне видится — в связи с моими более общими размышлениями — положение вашей страны в нынешнем беспокойном мире.

Несколько лет назад один известный политик спросил меня, куда относится Украина.

Вопрос этот он, несомненно, задал из самых добрых побуждений, но сформулировал он его неудачно. У меня создалось ощущение, что он спрашивает, куда, по моему мнению, может отнести Украину другое государство. Наверное, я зря оговариваю этого политика, но в его вопросе мне вдруг почудился смутный — и конечно же, невольный — отзвук того, что называют Ялтой или ялтинским способом мышления. И я совершенно недвусмысленно и, может быть, даже несколько недипломатично сказал этому политику: куда относится Украина, это не должны решать ни Соединенные Штаты, ни Российская Федерация, ни еще кто-либо. Это вправе решить лишь сама Украина. Причем решить не просто своим политическим волеизъявлением, но и характером своей политической и гражданской культуры.

Мне кажется, что Украина постепенно дает понять, куда она относится и куда хочет относиться. И я думаю, что форма ее самоосознания заслуживает уважения.

Не только географически, но и всей своей долгой историей, а также с точки зрения ценностей, которые она все явственнее исповедует, эта страна безусловно европейская. И она недвусмысленно подтверждает это характером политической культуры, к которой она тяготеет, волей к внутриполитическому диалогу и стремлением строить гражданское общество. Ее усилия, направленные на сближение и тесное сотрудничество с объединяющейся Европой, суть легитимное выражение ее самоосмысления.

Это страна большая и независимая, хотя нынешняя ее независимость еще очень молода. И в то же время страна эта находится как бы в гравитационном поле двух мощных сил: с одной стороны, евроамериканского мира, чьи ценности отстаивает Североатлантический альянс, а с другой — могущественной евразийской державы, каковой является и всегда будет Российская Федерация. Полагаю, Украина хорошо сознает свое щекотливое положение. Поэтому она хочет строить добрые партнерские отношения с обоими колоссами, не считая при этом необходимым слиться с тем или иным из них и в то же время не желая быть чьей-либо сферой влияния или буферной зоной. Насколько я понимаю смысл новых соглашений Украины с НАТО и с Российской Федерацией, она хочет быть не более и не менее чем суверенным субъектом, самобытное существование которого обогащает многообразие Северного полушария, который хочет, чтобы его уважали, и сам готов уважать других, не собираясь при этом кому-либо подчиняться или, наоборот, кого-либо провоцировать.

Такая позиция мне кажется весьма дальновидной в политическом, тактическом, стратегическом и прагматическом отношениях. И, что важнее всего, я вижу в ней приметы ровно того направления, в котором нам всем сегодня следовало бы двигаться. Одной из таких примет я считаю отчетливое осознание своей неповторимой самобытности в сочетании с желанием сотрудничать со всеми, внося тем самым вклад в поиск новых форм общемирового сосуществования и в формирование нового мироустройства, которое будет поистине справедливым, ибо будет уважать законную волю всех.

Я желаю вашей стране, чтобы такая политика была все явственнее наполнена духом новой глобальной ответственности, то есть тем духом, которым в будущем должно бы быть проникнуто поведение всех граждан, народов, государств и наднациональных либо континентальных объединений и организаций.

Важная роль в подобной деятельности, конечно же, должна принадлежать независимой интеллигенции, а следовательно, и университетским кругам.

Желаю вам больших успехов на этом пути.

Благодарю за оказанную мне сегодня честь, как и за ваше любезное внимание.

Речь при праздновании Дня германского единства (Ганновер, 3 октября 1998 г.)

Господин федеральный президент,
госпожа председатель Бундестага,
господин председатель Федерального совета,
дамы и господа!

В моей памяти до сих пор живы подробности тех дней, когда я в волнении стоял перед зданием немецкого посольства в Праге, глядя на тысячи беженцев из тогдашней ГДР, которые разбили лагерь на территории самого посольства, в саду и на прилегающих улицах в ожидании автобусов, которые вывезут их в свободный мир. С еще большим волнением я наблюдал за своими согражданами, носившими беженцам чай. И я чуть не плакал от восторга, видя затем, как Малостранская площадь, полная народа, радостно машет вслед отъезжающим автобусам. Признаюсь, что только тогда я впервые ощутил то, что несколько недель спустя скандировали переполненные площади Праги: «Началось!»

Поймите меня правильно: многие годы я вместе с моими друзьями считал естественным, что коммунизм и его железный занавес рано или поздно падет. Когда это будет и доживу ли я до этого дня, я, конечно, не знал. И многие годы я считал естественным, что падение коммунизма немислимо без падения Берлинской стены — точно так же, как немислимо падение Берлинской стены без падения коммунизма вместе со всеми прочими им возведенными стенами.

В начале семидесятых годов, когда навещать меня было опасно, время от времени тот или иной из давнишних немецких друзей меня все же навещал. И всякий раз я не понимал, почему эти мои мужественные друзья так удивляются, что для меня объединение Германии тесно связано с объединением Европы. Во время подобных бесед я обычно быстро умолкал, говоря себе, что немцам, живущим в свободном мире, наверняка известно что-то такое, что неизвестно мне.

Само собой, имеет большое значение, объединяется государство или делится. Одни государства объединяются, другие распадаются, иногда это приносит радость, иногда — боль. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Ведь и то государство, во главе которого я некогда стоял, распалось. И тем не менее я думаю, что есть нечто неизмеримо более важное, нежели то, объединяются ли те или иные государства или разделяются. А именно причина, почему это происходит.

Германия, кроме всего прочего, была разделена потому, что один в прошлом враг Гитлера, потом друг, а потом опять враг по фамилии Джугашвили решил, что если десятки миллионов его сограждан погибли на войне, то неплохо будет произвести на их ближних впечатление. И единственное, что при глубине его интеллекта — и его безнравственности — пришло ему в голову, так это захватить в свои руки все, что остальные страны позволяют ему захватить. Остальные страны позволили ему захватить пол-Европы. Он ее и захватил. Если бы ему ничего не позволили, он ничего бы и не получил. Если же остальной мир вдруг решил бы отдалиться ему целиком, то он бы его, разумеется, взял с радостью. (Это относится и к его врагу, потом другу, а потом опять врагу Адольфу Гитлеру: он тоже сделал то, что мир ему позволил. Если бы мир прочел произведение под названием «Моя борьба» и всерьез над ним задумался, войны бы не было. Нравственную ответственность за нее — хотя, конечно же, в разной степени! — несут, таким образом, все, кто знал о существовании и взглядах этого человека, а отнюдь не только та часть немецкой нации, которая фанатично следовала за ним.)

Впрочем, вам, присутствующим в этом зале, да и вообще гражданам нынешней Федеративной Республики Германии излишне все это растолковывать. И если я упомянул об этом, то лишь затем, чтобы объяснить, почему я никогда не понимал фразу «мир важнее объединения Германии». Совсем наоборот. Надежда на подлинный мир — подчеркиваю: надежда — возникла лишь тогда, когда Германия объединилась на демократических основах!

«Государства держатся на тех идеалах, которые их породили,» — сказал наш первый президент Томаш Гарриг Масарик. ГДР породило зло разделенной Европы, и это зло ее поддерживало. Пошла ли на пользу ее кончина жителям западных земель ФРГ — пусть скажут сами жители западных земель ФРГ. Пошла ли она на пользу жителям восточных земель ФРГ — пусть скажут сами жители восточных земель. А вот пошла ли она на пользу всему миру — об этом может судить каждый гражданин мира. Поэтому как гражданин мира я вправе сказать, что миру она пошла на пользу. Ибо для мира полезно, когда рушится то, что было порождено злом и на зле же держалось. В отношении Германии это вдвойне верно, так как зло в Германии означает зло в Европе, а зло в Европе означает зло во всем мире. Кто этого не осознает, тот не понял, почему вспыхнули две мировые войны.

Сегодняшняя демократическая Германия есть лаборатория объединяющейся Европы. Будет ли Европа жить в безопасности, свободе и мире — этого, конечно, никто не знает. Но шанс у нее есть. По моему мнению, самый крупный шанс за последние две тысячи лет.

Что делать, дабы не упустить этот шанс?

Полагаю, следует вновь и вновь обращаться к тому, что составляет лучшие традиции Европы, и вновь и вновь отвергать все, что составляет ее худшие традиции.

Эти последние, по моему убеждению, имеют один общий знаменатель: гордыню. Тупую уверенность, что именно я вправе распространять свою идею по всему миру и навязывать ее всем остальным. Ложная вера в собственную непогрешимость.

А лучшие традиции Европы? Это — чувство ответственности за мир. Стремление жить не по лжи. Императив собственной совести и непоказное осознание этого императива.

Однажды на площади, где собралось не меньше двухсот пятидесяти тысяч человек, я в завершение своего выступления выкрикнул: «Правда и любовь победят ложь и ненависть!» Затем этот лозунг стали писать на всех стенах и вывешивать на площадях. Многие даже стали смеяться над ним.

Но чем больше я об этом думаю, тем больше верю в сформулированный таким образом идеал.

Уважаемый Рихард фон Вайцзекер, дорогой друг, спасибо вам за все, что вы сделали для Европы!

Дорогой господин президент Херцог, спасибо вам за все, что вы делаете для Европы!

Дорогой Гельмут Коль, спасибо вам за все, что вы делали и делаете для Европы!

То хорошее, что все вы сделали для нее, вы сделали также и для Чешской Республики.

Дорогой господин Шредер,

благодарю вас за приглашение в Ганновер. Скорее всего, вы возглавите федеральное правительство Германии, и я поздравляю вас с миссией, которая вас ждет. Уверен, что в своей европейской политике вы продолжите многолетние усилия вашего предшественника!

Дамы и господа,

приветствую вас и всех граждан Федеративной Республики Германии в этот праздничный день и желаю вам всего наилучшего на долгие годы!

Благодарю за внимание.

Гражданское общество

(лекция в Макэлистер Колледж, Миннеаполис, США, 26 апреля 1999 г.)

Если тоталитарная система коммунистического типа местами могла сосуществовать с частной собственностью, а иногда даже с частным предпринимательством, то с развитым гражданским обществом она принципиально не сочеталась. Ибо подлинное гражданское общество — это основа основ демократии, которую тоталитарная власть по самой своей сути исключает.

Не случайно поэтому одним из самых мощных и даже, возможно, роковых наступлений, какими сопровождался приход к власти коммунистов, было наступление на гражданское общество.

Свободу слова, которую коммунизм некогда уничтожил за одну ночь, спустя сорок один год удалось вернуть точно так же за одну ночь. Очень быстро удалось отменить и закрепленную в конституции руководящую роль коммунистической партии, создать другие партии и организовать свободные выборы. В нашем случае оказалось возможным даже довольно быстро передать большую часть национализированной экономики вновь в руки конкретных собственников. С гражданским обществом, однако, дело обстоит куда сложнее, и возродить его — это задача на годы. Причина очевидна: гражданское общество есть очень сложно структурированный и в то же время очень хрупкий, а подчас и загадочный организм, который возникал в процессе естественного развития многие десятилетия, если не века, и который являет собой выражение неких постоянно изменяющихся состояний духа и нравов, известной степени общественного познания и самопознания, определенного типа гражданского сознания и самосознания. Уже из-за одного этого его нельзя по прошествии стольких лет, когда оно практически не существовало, восстановить сверху каким-либо законом, распоряжением или решением политического центра. Можно лишь терпеливо создавать благоприятные условия для его развития и терпеливо пестовать именно те черты общественного духа, которые такому развитию способствуют.

Что такое гражданское общество?

В самом общем виде, вероятно, можно сказать, что это общество, в котором граждане участвуют в общественной жизни, в управлении общественными институтами и в принятии общественно значимых решений множеством параллельных и взаимодополняющих друг друга способов, причем степень, вид и конкретная форма этого их участия зависит прежде всего от них самих, от их инициативы и фантазии, которые, конечно, реализуются в определенных законом рамках. Таким образом, это общество, которое не просто открывает простор для творческой активности индивидов и групп, заметно влияющей на всю общественную жизнь, но которое самым непосредственным образом опирается на эту активность. Функции государства и его структур в нем сводятся лишь к тем, которые не может выполнять никто другой, то есть, например, к таким, как законотворчество, оборона и безопасность государства, правоохранительная деятельность и т.п.

Несколько упрощенно можно было бы сказать, что гражданское общество зиждется на трех основных столпах.

Первый из них — коллективная жизнь в самом широком смысле. Это означает свободное объединение людей в разного рода организации — от обществ по интересам, гражданских инициатив и союзов через фонды и общественно полезные учреждения до церквей и политических партий. Люди объединяются в эти организации для того, чтобы совместно заниматься в них тем, чем лучше заниматься совместно, а не индивидуально. Решающее значение при этом имеет то, что в основе подобного

объединения, ведущего к аутентичному самоструктурированию общества, лежат иные интересы, нежели чисто предпринимательские (извлечение дохода), и что государство как представитель всего общества такие объединения и их деятельность поддерживает и создает для них благоприятные условия. Оно поступает так по меньшей мере по двум причинам. Во-первых, потому, что стабильность, гармония и успехи общества в целом в значительной степени зависят также от того, имеются ли в нем достаточные возможности для реализации законных и при этом бескорыстных интересов граждан и групп. Во-вторых, потому, что значительная часть этой бесприбыльной деятельности служит не только тем, кто в ней участвует, но и общему благу, то есть приносит плоды, которыми так или иначе могут воспользоваться все до единого.

Второй столп гражданского общества — это сильное общественное самоуправление. Это означает, что граждане, кроме своих представителей в центральных органах, избирают и своих представителей в местные и региональные органы и что эти органы нижней ступени имеют широкие полномочия и собственные источники финансирования. Иными словами: все, что необязательно решать на центральном уровне или в рамках иерархически упорядоченного государственного управления, решают выборные представители граждан на более низких уровнях. Таким образом, одна из главных составляющих гражданского общества и в то же время одна из форм или условий его развития — децентрализованное государство.

Определенные «солидарные» общественные функции выполняет по закону государство. Можно было бы даже сказать, что эти функции являются одной из причин его существования. Речь идет, например, о таких функциях, как социальное обеспечение, здравоохранение, образование, охрана окружающей среды. Если, однако, государство гарантирует выполнение этих функций, то это не означает, что оно обязано все их само непосредственно осуществлять. Государство не может быть ни хорошим врачом, ни хорошим учителем. Таким образом, третьим столпом гражданского общества должна бы стать продуманная система делегирования некоторых задач, за выполнение которых ответственно государство, другим субъектам, а также, естественно, продуманная форма контроля или поддержки этих субъектов. Школам, больницам, театрам и другим подобным учреждениям — если, конечно, они не являются коммерческими предприятиями — соответственно не следует быть такой же частью государства, как, например, армия или полиция; они должны бы иметь статус неприбыльных организаций, по отношению к которым у государства есть лишь определенные права и, разумеется, определенные обязанности.

Эти три столпа гражданского общества — коллективная жизнь, децентрализация государства и делегирование некоторых его функций относительно самостоятельным субъектам — представляют и три главных пути, по которым должно двигаться возрождение гражданского общества у нас.

Раздутые полномочия государства или нежелание делиться властью имеют место не только по причинам общего характера, о которых я упомянул, но также и потому, что часть новой политической элиты сопротивляется возвращению гражданского общества или относится к этому довольно апатично.

Как только эта элита получила власть, она быстро усвоила обычное для власти нежелание лишиться чего-либо из того, что имеет. В итоге многие современные политики-демократы, либо даже антикоммунисты, парадоксальным образом защищают ровно те раздутые полномочия государства, какие являются реликтом коммунистической эры. Вот почему немало школ, больниц, культурных и других подобных учреждений в нашей стране до сих пор подчиняется старым, зачастую совершенно бессмысленным и нерентабельным законам централизованного управления, хотя они уже давно могли стать современными неприбыльными организациями, за которыми государство лишь издали наблюдает или в открытой форме их поддерживает. Вот почему у нас уже девять лет говорят о децентрализации государства, но ни одно министерство не хочет без борьбы передать свои нынешние полномочия регионам или населенным пунктам. Вот почему у нас непомерно высокие налоги — во всяком случае с точки зрения потребностей реформирующейся экономики: государство должно платить за тысячи вещей, за которые бы в условиях развитого гражданского общества оно бы платить не стало, так как граждане платили бы за них напрямую.

Эта значительная консервативность государства не имеет ничего общего с идеологией. Если же некоторые политики тем не менее все-таки пытаются идеологически оправдать свое нежелание ограничить полномочия государства, то чаще всего они говорят одно: люди нас выбрали, и мы тут для того, чтобы по их воле править. Все, что в эти рамки не укладывается, наносит удар по представительной демократии, по политическим партиям и вообще по существующей политической системе. Перераспределение средств в обществе — это прерогатива государства, и эту его функцию нельзя дробить. Пытаться создавать и поддерживать какие-либо иные, политически не контролируемые центром параллельные структуры значит ставить под сомнение парламентскую демократию. Вера в гражданское общество в Чехии все еще выдается многими за «левачество», анархизм, синдикализм; как-то раз ее назвали даже протофашизмом.

Разумеется, это нонсенс. Гражданское общество в том смысле, в каком я о нем говорю, наоборот, служит единственным по-настоящему прочным фундаментом демократической политической системы, потому что политические партии и основные институты демократического государства хорошо работают лишь тогда, когда они непрерывно черпают свою жизненную силу в окружающей их развитой и плюралистической гражданской среде, которая посылает им импульсы и из которой в то же время исходит квалифицированная критика. Речь идет не о том, чтобы исключить парламент, правительство или партии из общественной жизни либо же как-то обойти их, но наоборот о том, чтобы они функционировали как можно

лучше в качестве субъектов, венчающих демократическую систему. Без животворной почвы разнообразно структурированного гражданского общества политические партии и верховные институты государства хиреют, лишаясь активности, притока свежей крови и идей. В конце концов они превращаются в никому не интересные и замкнутые на себя группы политических профессионалов, которые едва ли не самодостаточны.

За доводом, будто развитие гражданского общества — это удар по существующей политической системе, следовательно, кроется не что иное, как все то же нежелание делиться с кем-либо властью. Партии как будто говорят: править призваны мы, выбирайте из нас — и не более того.

В чем смысл гражданского общества?

Во-первых: гражданское общество создает подлинный плюрализм, а плюрализм, точнее, соревнование, к которому он ведет, означает качество. В этом заключается известное сходство между экономикой и общественной жизнью. Чем больше возникает в той или иной области общественной жизни независимых друг от друга, свободных инициатив снизу, тем больше надежд на то, что в их свободном соревновании победит лучшая и наиболее оригинальная. Рассчитывать же на то, что государственный или политический центр может сам наперед решить, что лучше и как что должно выглядеть, значит выдавать власти патент на истину в последней инстанции. К чему приводит такое отождествление власти с «историческим разумом», мы знаем — или же должны знать — как никто другой: к всеобщему упадку. Кто сказал «а», обязан сказать и «б». Если мы хотим свободы, то нам следует также признать право на существование того, что является ее естественным производным, ее выражением и реальным содержанием — то есть гражданского общества.

Во-вторых: с этим связан тот очевидный факт, что чем многослойнее и развитее гражданское общество, тем стабильнее политическая ситуация в стране. Оно и понятно, ведь такое общество защищает граждан от чрезмерного увлечения переменами в центре политической власти, улавливая на более низких уровнях отдельные последствия подобных перемен, приглушая их или попросту преодолевая. Тем самым оно фактически облегчает политические перемены либо во всяком случае делает так, что они не воспринимаются как катастрофические. В действующем гражданском обществе смена правительства или правящей верхушки вовсе не обязательно сопровождается бурей, которая сметает все на своем пути. Там же, где гражданское общество недостаточно развито, каждая проблема политического центра вторгается в повседневную жизнь людей — и наоборот, многие проблемы простых граждан затрагивают центральную власть, так что она вынуждена заниматься вещами, которыми вообще-то заниматься не должна, — причем в ущерб тому, что действительно относится к ее обязанностям. Таким образом, гражданское общество является лучшей гарантией не только от возможного политического хаоса, но и от вероятного прихода к власти авторитарных сил, которые заявляют о себе всякий раз, когда общество переживает потрясения или же испытывает чувство неуверенности в будущем, и которым, само собой, тем проще подчинить себе страну, чем большей властью обладает центр. Коммунисты хорошо знали, что делали, подчиняя и превращая в управляемую структуру всякое общество пчеловодов.

В-третьих: не надо быть великим экономистом или математиком, чтобы понять — гражданское общество себя окупает. Чем больше всего оплачивается из государственного бюджета и чем больше для этого собирается народа, тем больше денег теряется по дороге сначала вверх, а потом опять вниз в виде расходов на все, что обеспечивает подобную транспортировку. Разумеется, при системе списания налогов на общественно полезные нужды идет больше денег, нежели поступало бы от той же суммы, выплаченной в форме налога. Чем короче и прямее путь от того, кто платит, к цели, ради которой он платит, тем лучше видно, как используются эти деньги; соответственно уменьшается опасность их неэффективного расходования. Я не говорю уже о том, какое неизмеримое экономическое значение имеет плюрализм, поддерживаемый децентрализованным перераспределением средств, или о том, насколько виднее конкретному дарителю реальная структура общественных нужд, на которые он жертвует, нежели самому добросовестному из государственных служащих где-нибудь в министерстве.

В-четвертых: пожалуй, важнейший признак гражданского общества заключается в другом. А именно в том, что оно позволяет человеку по-настоящему и полностью самореализоваться в качестве того, кем он потенциально является, то есть раскрыться как *zoon politikon*, существо общественное. Ведь человек — это не только производитель, создатель прибыли или потребитель. Одновременно — и, возможно, по самой своей глубинной сути — это тот, кто хочет быть с другими, кто тянется к различным формам человеческого сосуществования и сотрудничества, кто хочет реально участвовать в жизни людского сообщества и влиять на то, что творится вокруг него. Человек по своей природе предрасположен к тому, чтобы быть неравнодушным к своему окружению, к обществу; при этом он хочет, чтобы окружение ценило его за то, что он ему дает; человек — это субъект совести, нравственности, любви к ближнему. И гражданское общество представляет собой одну из форм, посредством которых реализуется или может реализоваться наша человеческая сущность во всей своей полноте, а значит и в том очень тонком, трудно уловимом, но, по-видимому, самом важном, что ее образует.

Я наконец подхожу к тому, что, вероятно, наиболее явно касается как моих сограждан, так и вас, к которым я в данный момент имею удовольствие обращаться. В современном мире, охваченном единой

глобальной и в принципе материалистической цивилизацией, которая в известном смысле грозит сама себя уничтожить, один из способов противостоять все нарастающей опасности — это систематически формировать всемирное гражданское общество. По моему мнению, государство ради жизненных интересов быстро увеличивающегося человечества должно в будущем столетии все явственнее превращаться из мистического воплощения национальных амбиций и объекта поклонения в возможно более цивилизованную административную единицу, привыкая к необходимости передавать многие свои функции как вниз, структурам гражданского общества, так и наверх, наднациональным и всемирным — также подлинно гражданским — объединениям и организациям.

Разумеется, я не против патриотизма. Свою родину следует любить по меньшей мере так, как мы любим свою семью, свой город или деревню, свою профессию, как мы любим и планету, где нам выпало жить и где находится и наша родина. Я лишь против национализма — этого слепого возвышения национальной принадлежности над всем остальным.

Разумеется, я не выступаю также против какой бы то ни было религии, культуры, самобытных традиций. Я лишь против всех форм фанатизма или фундаментализма, которые опять-таки представляют собой не что иное, как слепое возвышение одного уровня человеческого самосознания над остальными.

И мне кажется, что самое открытое устройство, такое, которое дает наилучшую возможность всем формам человеческой самоидентификации развиваться друг подле друга, — это именно гражданское устройство. То есть устройство, основанное на вере гражданина и на уважении к нему.

Речь на совместном заседании обеих палат канадского парламента (Оттава, 29 апреля 1999 г.)

Дамы и господа, депутаты и сенаторы!

Полагаю, нет необходимости особо подчеркивать, как я ценю предоставленную мне возможность обратиться к вам. Разрешите воспользоваться этим случаем, чтобы высказать несколько соображений, касающихся государства и его вероятного статуса в будущем.

Все указывает на то, что развитие национального государства, как кульминации истории каждого народа и высшей на земле ценности, по существу единственной, во имя которой можно убивать или ради которой стоит жертвовать жизнью, уже миновало свой пик.

Судя по всему, благородные усилия многих поколений демократов, страшный опыт двух мировых войн, который в значительной мере способствовал появлению «Всеобщей декларации прав человека», как и развитие цивилизации вообще, постепенно подводят человечество к мысли, что человек важнее государства.

Идол государственного суверенитета должен с неизбежностью рассыпаться в мире, который соединяет людей, невзирая на границы, миллионами связей: начиная с торговых, финансовых или же отношений собственности и кончая информационными, несущими разнообразнейшие универсальные ценностные и культурные модели. Это мир, в котором угроза для одних начинает сразу же напрямую касаться всех, где по многим причинам, прежде всего благодаря небывалому развитию науки и техники, наши судьбы сплетены в единую судьбу и где, нравится нам это или нет, все мы ответственны за все.

Очевидно, что в таком мире слепая любовь к собственному государству, которая не признает над собой никакой высшей силы и способна простить своему государству что угодно лишь потому, что это — свое государство, одновременно отвергая все иное лишь потому, что оно — иное, становится опасным анахронизмом, питательной средой для различных конфликтов и в конце концов источником величайших человеческих страданий.

Полагаю, что в наступающем столетии большинство государств начнет превращаться из культовых, несущих эмоциональный заряд объектов в гораздо более простые, гражданские, не столь сильные, но зато более рациональные административные единицы, представляющие собой лишь один из уровней сложной и многослойной общественной самоорганизации нашей планеты. По мере такого превращения должна постепенно отойти в прошлое и идея невмешательства, в соответствии с которой нам нет никакого дела до того, что творится в другом государстве и как соблюдаются в нем права человека.

Куда же перейдут разнообразные функции, которые сегодня выполняет государство?

Упомянем вначале о функциях эмоциональных. Они, по моему мнению, станут более справедливо распределяться между другими областями, которые формируют человеческую личность или в которых человек познает себя. Я имею в виду разные составляющие того, что мы ощущаем как свой дом или естественный для нас мир, начиная со своей семьи, места работы и жительства, своего края — через свою профессию, свою церковь, свой круг общения — и кончая своим континентом и далее своей Землей, планетой, где все мы живем. Все это образует различные сферы нашей самоидентификации, и если гипертрофированное ныне отношение к собственному государству будет ослабевать, то именно в пользу всех этих прочих сфер.

Что касается фактических функций государства, или же его полномочий, то их переход может осуществляться лишь в двух направлениях: вниз и вверх.

Вниз — это значит к разнообразным организациям и структурам гражданского общества, которым государство должно постепенно передавать многие из выполняемых им обязанностей; вверх же — значит к

различным региональным, наднациональным или всемирным объединениям и организациям. Этот перенос функций, кстати, уже начался, где-то он находится в довольно продвинутой стадии, где-то — не в такой продвинутой, но то, что процесс идет и по многим причинам не может не идти в данном направлении, не вызывает сомнений.

Если современные демократические государства отличаются прежде всего такими признаками, как уважение к правам и свободам человека, равноправие граждан, власть закона или гражданское общество, то состояние, к которому человечество будет стремиться или к которому оно должно бы стремиться в интересах собственного самосохранения, пожалуй, можно охарактеризовать как универсальное или глобальное уважение человеческих прав, универсальное гражданское равенство и универсальная власть закона, всемирное гражданское общество.

Одной из серьезных проблем при образовании национальных государств было определение их географических границ. На это влияло множество факторов, начиная с этнико-цивилизационных через историко-державные и кончая культурными и геологическими.

Формирующиеся крупные региональные или же наднациональные сообщества столкнутся местами с той же проблемой — либо унаследуют ее от национальных государств, которые в них войдут. Поэтому необходимо делать все для того, чтобы этот процесс самоопределения не был таким болезненным, как при образовании национальных государств.

Разрешите мне привести один пример. Канада и Чешская Республика сегодня союзники — члены общего оборонного союза: Североатлантического альянса. Это результат весьма значимого исторического процесса, каким является вхождение в Альянс стран Центральной и Восточной Европы. Значимость данного процесса вытекает из того, что это первый серьезный и исторически бесповоротный шаг к ликвидации железного занавеса и фактическому — а не только на словах — пересмотру того, что именуется ялтинскими соглашениями.

Подобное расширение Альянса, как хорошо известно, проходило непросто и стало реальностью лишь через десять лет после фактического конца двухполюсного разделения мира. Одной из многих причин того, что это проходило так непросто, было сопротивление Российской Федерации, которая недоуменно и обеспокоенно вопрошала, почему Запад так распространяется, приближаясь к ее границам, но при этом не заключая в объятия ее самое. Эта позиция, если отвлечься от всех остальных ее мотивов, обнаруживает один очень интересный момент: неуверенность в отношении того, где начинается и кончается то, что можно назвать миром России, или Востоком. Протягивая России руку для партнерства, НАТО исходит из того, что речь идет о двух великих и равноправных силах — североатлантическом мире и могущественной евразийской державе. Эти две силы могут и обязаны протянуть друг другу руки, они могут и обязаны сотрудничать, это в интересах всего мира. Однако сделать это они могут, только когда вполне идентифицируют себя, иными словами, когда будут точно знать, где какая из них начинается и где кончается. С этим у России в ее истории дело всегда обстояло довольно трудно, и трудность эту она, по-видимому, несет с собой и в современный мир, где уже не так существенно то, где начинается и кончается то или иное национальное государство, но важно, где начинается и кончается та или иная область цивилизации или регион. Да, у России есть тысяча и одна нить, связующая ее с евроатлантическим миром, или с так называемым Западом, но у нее есть также тысяча и один барьер, которыми она от него отделена — подобно Латинской Америке, Африке, Дальнему Востоку и другим регионам или континентам в сегодняшнем мире. Впрочем, то, что эти миры — или части мира — отличны друг от друга, не означает, что один лучше другого. Они все равны; просто они кое в чем несхожи. Но ведь несхожесть — не порок! России, с одной стороны, очень важно, чтобы она воспринималась как некто значительный, с кем и обращаться следует особым образом, то есть как мировая держава, а с другой стороны, ей не по душе, что она воспринимается как самобытная сущность, которая не может стать частью другой сущности.

Россия к расширению Альянса привыкает и привыкнет. Остается надеяться, что это будет не просто проявлением «осознанной необходимости» по Энгельсу, но выражением нового, более глубокого самоосознания. Так же, как и другие в новом мультикультурном и многополюсном мировом пространстве должны учиться самоопределению, должна этому учиться и Россия. Это означает не только то, что она не может вечно заменять естественную уверенность в своих силах манией величия или простым самолюбованием, но также и то, что ей придется осознать, где она начинается и где кончается. Осознать, что, например, огромная Сибирь с ее нескончаемыми природными богатствами — это Россия, а крошечная Эстония — не Россия и никогда ею не будет. И если Эстония ощущает себя принадлежащей к миру, который представляют Североатлантический альянс или Европейский союз, то это нужно понять, уважать и не считать проявлением враждебности.

Что я хотел показать на этом примере? То, что мир в двадцать первом веке будет — если человечество защитит себя от всевозможных угроз, которые оно само же себе уготовило, — миром все более тесной и совершенно равноправной кооперации крупных, порой размером с континент, и большей частью наднациональных сообществ. Но для того, чтобы он стал таким, отдельные сообщества, культурные или цивилизационные области должны осознать себя, должны понять, чем они несхожи с другими, и привыкнуть к мысли, что эта их несхожесть вовсе не означает ущербности, а представляет лишь их самобытный вклад в глобальную сокровищницу человечества. Это должны понять и те, кто, наоборот, склонен видеть в своей несхожести причину для чувства собственного превосходства.

Одной из важнейших организаций, где все государства и крупные межгосударственные объединения встречаются для равноправного диалога и где принимается множество решений, касающихся всего мира, является ООН.

Думаю, для того чтобы ООН справилась с задачами, которые поставит перед нею грядущее столетие, ее нужно основательно реформировать.

Совет Безопасности, этот главный орган ООН, не может и впредь консервировать ситуацию того периода, когда эта организация возникла; он должен справедливо отражать сегодняшний многополюсный мир. Следует подумать, необходимо ли, чтобы в этом совете — пусть даже теоретически — голос одного государства мог перевесить голоса всего мира. Следует подумать, какие большие, сильные и густонаселенные страны не являются его постоянными членами. Следует обдумать форму ротации временных членов и многое, многое другое.

Всю гигантскую структуру ООН нужно сделать небюрократической и более эффективной.

Нужно поразмыслить над тем, как достичь подлинной гибкости решений ООН и в первую очередь ее Генеральной Ассамблеи.

Нужно — и это я считал бы самым главным — добиться того, чтобы все обитатели земного шара видели в ООН по-настоящему свою организацию, а не просто какой-то клуб правительств всех государств. Ведь важнее всего именно то, что эта организация делает для жителей планеты, а не для отдельных государств как таковых. Для этого, по-видимому, следовало бы пересмотреть и форму финансирования ООН, форму выполнения ее решений и форму контроля за их выполнением. Я не призываю ликвидировать суверенитет государств и создать некую всемирную сверхдержаву. Речь идет о том, чтобы изменить положение, когда все всегда проходит через руки отдельных государств, чтобы в интересах человека, его прав, свобод и самой жизни было не одно русло, по которым решения представительного органа всей планеты доходили до граждан, а их воля — до этого органа. Если такое русло будет не одно, в мире станет больше равновесия и взаимного контроля.

Полагаю очевидным, что я не выступаю здесь против института государства как такового. Было бы довольно абсурдно, если бы перед представительным органом одного государства глава другого государства ратовал за ликвидацию государства вообще.

Я говорю о другом: о том, что есть ценность, которая превышает государства, и эта ценность — человек. Государство, как известно, призвано служить человеку, а не наоборот. И если человек служит своему государству, то он должен служить ему ровно в той мере, в какой это необходимо для того, чтобы государство хорошо служило всем своим гражданам. Права человека выше прав государства. Человеческая свобода выше государственного суверенитета. Международное право, защищающее неповторимую человеческую сущность, должно быть выше международного права, защищающего государство.

Если в современном мире наши судьбы сплетены в единую судьбу и все мы ответственны за всеобщее будущее, то никто — в том числе и государство — не вправе ограничивать право человека наполнять эту ответственность реальным содержанием. Думаю, что внешняя политика отдельных государств должна постепенно избавляться от категории, которая ныне чаще всего является ее стержнем, а именно от понятия «интересы», или «наши государственные интересы», или «внешнеполитические интересы нашего государства». Думаю, что понятие «интересы» скорее разъединяет, нежели сближает. У каждого из нас есть какие-то особые интересы, это само собой разумеется, и вовсе не следует от своих законных интересов отказываться. Однако есть нечто выше наших интересов. Это принципы, которых мы придерживаемся. Принципы же нас гораздо чаще сближают, чем разъединяют, и именно они позволяют распознать, законны или незаконны наши интересы. Считаю неправильным, когда та или иная государственная доктрина гласит, что интересы государства требуют проводить в жизнь какие-либо принципы. Эти принципы необходимо чувствовать и проводить их в жизнь ради них самих — так сказать, из принципа. И именно от них должны быть производными наши интересы.

По моему убеждению, было бы неправильно, если бы я сказал, например, что интерес Чешской Республики заключается в том, чтобы на земле был справедливый мир. Мне следовало бы сказать иначе: на земле должен быть справедливый мир, и этому необходимо подчинить интересы Чешской Республики.

Североатлантический альянс, членами которого являются ныне как Канада, так и Чешская Республика, борется против режима Слободана Милошевича, который осуществляет геноцид. Борьба эта непростая и непопулярная, и можно по-разному относиться к ее стратегии и тактике. Но ни один разумный человек не может не согласиться с одним: это, по-видимому, первая война, которая ведется не во имя интересов, но во имя определенных принципов и ценностей. Если какую-либо войну можно вообще назвать этической, или ведущейся по этическим причинам, то это как раз такой случай. В Косове нет нефтяных месторождений, в которых кто-либо может быть заинтересован; ни одна из стран-членов НАТО не имеет к Косову никаких территориальных претензий; Милошевич не угрожает территориальной или какой-либо иной целостности ни одного из членов Альянса. И тем не менее Альянс воюет. Он воюет из-за человеческого неравнодушия к судьбе других. Воюет потому, что порядочный человек не может мириться с систематическим, исходящим от государства истреблением других людей. Он просто не может терпеть это и не может не прийти на помощь, если это в его силах.

В этой войне права человека ставятся выше прав государства. Альянс выступил против Союзной Республики Югославии, не имея на то мандата ООН. Это, однако, не было актом произвола, или агрессии,

или неуважением международного права. Наоборот, это явилось актом уважения права, но только права высшего, нежели то, которое защищает суверенитет государства. Актом уважения прав человека — как это нам подсказывает наша совесть и как они сформулированы во многих международных документах.

Полагаю, что это — серьезный прецедент на будущее. Здесь было ясно заявлено, что убивать людей, лишать их крова, мучить их и отбирать у них имущество не позволено никому. Было продемонстрировано, что права человека неделимы и ущерб, наносимый одним, есть ущерб для всех.

Дамы и господа!

Мне хорошо известно, что Канада в своей политике уже давно и систематически проводит принцип безопасности человека, считая ее не менее, если не более важной, чем безопасность государства. Позвольте мне заверить вас в том, что такая политика Канады пользуется в моей стране глубочайшим уважением. Я хотел бы, чтобы мы были не только формальными союзниками — как члены одного оборонного альянса, но также союзниками в деле утверждения этого принципа.

Дорогие друзья, я много раз задавался вопросом, кто дал человеку право иметь вообще какие-либо права. И всякий раз я приходил к заключению, что человеческие права, свободы и достоинство коренятся в чем-то ином, нежели этот наш обыденный мир, и становятся таковыми лишь потому, что при определенных обстоятельствах оказываются для человека — без всякого внешнего принуждения — более высокой ценностью, чем сама жизнь. Поэтому они обретают смысл только перед лицом бесконечности и вечности. Я глубоко убежден: то, что мы делаем, будь это в согласии с нашей совестью как посланцем вечности в нашей душе, или в разладе с ней, в конце концов оценивается не в том пространстве, которое мы можем обозреть. Если бы мы не чувствовали этого, или подсознательно не ощущали, многое мы попросту не могли бы делать.

Разрешите мне завершить свои размышления о государстве и его вероятной роли в будущем следующим утверждением: если государство — творение рук человеческих, то человек — творение Божие.

L'Etat est l'oeuvre de l'homme, et l'homme est l'oeuvre de Dieu.

Благодарю за внимание.

Речь по случаю вручения премии Центральноевропейского университета «Open Society» (Будапешт, 24 июня 1999 г.)

Господин ректор,
дамы и господа,

пару недель назад сборная Чешской Республики выиграла чемпионат мира по хоккею. За этим в нашей стране последовали массовые торжества, выплеснувшиеся на улицы. Я наблюдал их по телевизору и признаюсь, испытывал, как весьма часто в подобных случаях, смешанные чувства.

С одной стороны, я был рад тому, что нынешнее чешское общество, довольно апатичное и скептическое, оказалось способным с таким воодушевлением отождествить себя со сборной своей страны, а тем самым и со своим государством как таковым; что у людей сохраняется еще некое элементарное чувство патриотизма, что они могут вдруг вдохновиться чем-либо подобным и выйти на улицы, чтобы отпраздновать добрую весть несмотря на то, что она не несет им прямой личной выгоды.

С другой стороны, я не мог не задаваться разного рода неприятными вопросами. Например: если повсеместно кричат «Мы победили!», то не значит ли это, что люди присваивают себе чужие достижения и что в этой победе безосновательно ищут подтверждения своей исключительности? Кто, собственно, победил: «мы» все, и среди нас прежде всего те, кто ликует на улицах, или же спортсмены, которые представляли Чешскую Республику? Действительно ли это радость по поводу успеха наших сограждан, который прославляет нашу страну, либо же для множества людей это всего лишь предлог для культивирования иллюзий о нас? Не являются ли эти массовые торжества лишь выражением нежелания нести персональную ответственность за мир и потребности скорее раствориться в стае с ее коллективной гордыней и коллективной безответственностью? Не есть ли это атавизмом темной архетипической любви к своему племени, которое представляется нам — лишь потому, что мы к нему без каких-либо личных заслуг принадлежим, — лучшим из всех? Не являются ли те парни, которые при общенародном праздновании этой хоккейной победы подкрепили нашу национальную исключительность тем, что избili несколько человек с иным цветом кожи, лишь видимым побегом чего-то менее заметного, однако тем более опасного, что кроется за этой эйфорией?

Не исключаю, что «попперовская» борьба открытого общества с его врагами имеет место и среди толпы, торжествующей победу хоккеистов, а в каком-то смысле и в душе всех торжествующих.

Как бы то ни было, но Гегель, этот — согласно Попперу — аферист от философии, был, по-видимому, кое в чем прав: действительность двойственна. И провести границу между трогательной, возвышающей, привлекательной и совершенно естественной солидарностью внутри того или иного сообщества, например, национального, и менталитетом стаи, где тысячи и миллионы трусливых и несамостоятельных «я» прячутся за неким «мы», которое их автоматически оправдывает, действительно очень трудно. Где кончается патриотизм и начинается национализм и шовинизм? Где кончается гражданская солидарность и начинают кипеть племенные страсти? Где кончается естественная радость по

поводу впечатляющего успеха своих ближних и заслуживающее всякого уважения восхищение спортивными достижениями — и начинается кража чужих достижений толпой без мыслей и чувства личной ответственности?

Мало того. Трудно нащупать границы и между другими феноменами, так или иначе связанными с идеалами открытого общества.

Как, например, распознать момент, когда система живых идей умирает в форме идеологии? Как распознать, когда принципы, взгляды и надежды начинают застывать в форме недвижимого колосса фраз, догматов и идеологических стереотипов? Как распознать, когда интерес к истине начинает вытесняться понятиями престижа и гордости, которые не позволяют человеку отказаться от прежней точки зрения? Как распознать тот момент, когда концептуальное мышление, эта естественная предпосылка всякой нормальной политики, начинает превращаться в социальную инженерию, то есть попытку гордого разума индивида планировать жизнь общества?

Открытое общество — как общество свободных и свободно объединяющихся людей, которое не подчиняется диктату какой бы то ни было идеологии либо той или иной интерпретации истории и ее мнимых закономерностей, но исключительно императиву человеческого разума и основополагающих нравственных принципов, — предполагает существование открытого человека с открытой душой. Такое общество его предполагает — и в то же время его формирует.

Но опять-таки: как распознать, когда человек все еще свободно впитывает и классифицирует то, что формирует его мир, а когда он уже отказывается от этой свободы, чтобы с комфортом для себя отдался своим темным страстям, предрассудкам, упрощенным, но привлекательным идеологическим парадигмам и тупо следовать манящим призывам демагогов и популистов? Как распознать, когда политик перестает принимать во внимание наши естественные чувства и начинает грубо пользоваться и злоупотреблять ими ради собственной выгоды?

Хорошо известно, что одним из истоков сегодняшней цепи кошмаров на Балканах была, в частности, агрессивная истерия сербских и хорватских футбольных фанатов.

Как распознать, когда такая привлекательная и естественная вещь, как идентификация себя с тем или иным спортивным клубом, начинает незаметно превращаться в сумрачный пролог к этнической ненависти, к этническим чисткам, этническим войнам и этническим зверствам?

Полагаю, что Европа не сумела своевременно распознать этот момент, и потому — с опозданием на десять лет — ей пришлось крайне непопулярным способом добиваться того, чего она, скорее всего, могла бы добиться куда легче, если бы она вовремя восприняла некоторые грозные знамения и сделала из них соответствующие выводы.

Этого не случилось, и в каком-то смысле это можно понять. Действительность двойственна, и крайне трудно пытаться постоянно различать ее разнообразные лики, распознавая всякий раз, когда искреннее ликование болельщика сменяется безумием угнетенной закомплексованной души.

И это притом, что мы вступаем в эпоху, когда различать такие вещи будет все важнее, ибо любая малая ненависть в связи с глобальным характером современной цивилизации легко может привести к всемирной катастрофе.

Так чем же руководствоваться? Как отличить одно от другого?

Точной инструкции не существует. По-видимому, вообще не существует никакой инструкции. Единственное, что лично я в данный момент могу порекомендовать, это чувство юмора. Способность видеть смешные и абсурдные стороны явлений. Способность смеяться над другими и над самими собой. Умение иронизировать и пародировать. Иными словами, умение видеть вещи сверху или со стороны. Чувствовать подспудную опасность любых видов тщеславия у остальных и у самого себя. Добрая воля. Непоказная уверенность в сущности вещей. Благодарность за дар жизни и смелость брать на себя ответственность за него. Бодрствование духа.

Кто не утратил способности осознавать, сколь он смешон или ничтожен, в том нет гордыни и тот не враг открытого общества. А враг ему — человек с сурово серьезным лицом и пылающим взглядом.

Я пожелал бы нам всем, и в первую очередь юным студентам Центрально-Европейского университета, сохранить бодрость духа — один из главных инструментов защиты от безумия и зла.

Благодарю за премию, которую мне сегодня вручают и которую я, конечно же, высоко ценю из-за идеалов, с нею связанных. В то же время обещаю вам, что, как ее лауреат, я не возгоржусь и не избавлюсь от сомнений в себе самом, обуревающих меня всю мою жизнь.

Благодарю за внимание.

**Речь по случаю государственного праздника Чешской Республики
(Прага, 28 октября 1999 г.)**

Дамы и господа,
уважаемые присутствующие,

независимая и демократическая Чехословакия, образование которой мы отмечаем уже в восемьдесят первый раз, не возникла бы без великой освободительной борьбы наших иностранных легионов¹⁹, без мощного внутреннего сопротивления распадающемуся монархическому австро-венгерскому режиму и прежде всего без достойных восхищения политических и дипломатических усилий Т.Г.Масарика и его соратников. Тем не менее нельзя сказать, что создание Чехословакии было исключительно результатом этих усилий чехов и словаков. Наша борьба тогда не увенчалась бы успехом и была бы вообще невозможна, если бы не первая мировая война и огромные перемены в мире, ею вызванные, которые Масарик назвал мировой революцией.

Аналогично обстояло дело и в процессе политических перемен десять лет назад: не желая ни в коей мере умалить заслуги тех, кто так или иначе в течение нескольких десятилетий сопротивлялся режиму у нас в стране и за ее пределами, как и значение мощного подъема нашего общества в ноябре-декабре 1989 года, я считаю своим долгом вновь недвусмысленно заявить, что падение коммунизма в Чехословакии было прежде всего неотделимой и естественной составной частью масштабного международного движения. Да, старый режим у нас мог рухнуть несколько раньше или несколько позже, он мог распасться быстрее, но мог и гораздо медленнее, и это могло произойти тысячами разных способов, лучших, но скорее всего куда худших. Но даже если бы падение тоталитарной системы длилось у нас не дни, а долгие мучительные месяцы или даже годы, если бы этот процесс натолкнулся на неизмеримо более серьезные препятствия и сопровождался человеческими страданиями, это ничуть не изменило бы того очевидного факта, что в данном международном контексте, здесь, в центре Европы, и именно в нашей стране с ее историей и творческим потенциалом подобное должно было случиться.

Просто-напросто не только в новейший период, но и во всей нашей долгой и драматической истории есть моменты, когда коренные перемены к лучшему, а также к худшему, происходили прежде всего как следствие более широких процессов, европейских или мировых.

Не знаю, все ли историки со мной согласятся, но лично у меня создается сильнейшее впечатление, что время от времени в нашей истории встречаются также случаи, когда дело обстоит ровно наоборот. То есть случаи, когда в первую очередь мы сами принимали принципиальные решения, касающиеся будущего развития нашего государства, и выбирали, какие — лучшие или худшие — настроения и интересы общества, скрытые модели, а то и прямо архетипы поведения и, само собой, актуальные политические конфликты данного момента будут определять нашу судьбу на долгое время, быть может, на века.

Это особые моменты великих исторических перепутей, которые, кроме прочего, характеризуются тем, что лишь немногие из стоящих на таком перепутье сознают далеко идущее значение своего выбора.

Подобные перепутья на удивление часто обнаруживают одну общую черту: мы решаем, замкнуться ли в своей котловине, окруженной горами, в хорошо знакомом нам мирке наших привычек и интересов и с чувством некоторого недоверия, скепсиса, страха или эгоизма пренебречь призывами, которые исходят от Европы и мира, или со всей смелостью включиться во что-то такое, что по своему значению, глубине и взаимосвязям далеко выходит за рамки той части мира, которую мы населяем.

Первый из этих путей бывает более легким, понятным каждому, он даже может дать некоторый кратковременный эффект, но в длительной перспективе он грозит стать для нашего сообщества роковым. Второй же путь — менее удобный, более трудный и рискованный, но тем большую пользу он в конце концов приносит.

Недавно я имел случай исследовать один пример данного типа чешской дилеммы и при этом заметил, как выбранный путь в длительной перспективе обратился против нас.

Я говорю о временах тысячелетней давности. Будучи во многом предрасположены стать среди народов нашего региона видными участниками западнохристианского духовного и политического развития, мы достигли по сравнению с другими плачевнейшего результата. Погрязнув в исключительно местных заботах, в первую очередь в раздорах между Пршемысловцами и Славниковцами²⁰, мы словно походя изгнали из страны нашего епископа Войтеха, как видно, потому, что он предъявлял слишком высокие требования к своим соотечественникам и единоверцам, укоряя их за многое — например, за работорговлю. Он был изгнан в соседние земли, где его приняли лучше. Вскоре представители этих земель, в значительной мере стараниями Войтеха, оказались возведены в архиепископское и королевское достоинство, что было в то время весьма важным свидетельством культурно-политической ориентации и значимости страны. Мы же

¹⁹ Чехословацкие легионы — воинские части, сформированные в 1917–1918 гг. из чешских и словацких добровольцев-военнопленных в России, Франции и Италии и сражавшиеся на стороне Антанты против Австро-Венгрии и Германии.

²⁰ Пршемысловый — первая чешская княжеская, а с 1158 г. королевская династия. Славниковцы — влиятельный в X в. чешский княжеский род, в 995 г. истребленный Пршемысловцами; его представителем был пражский епископ (982—994) св. Войтех († ок. 997, канонизирован в 999 г.).

первого из этих титулов дожидались еще триста пятьдесят, а второго — сто пятьдесят лет. На заре нашей документально подтвержденной истории, когда в Европе по воле обстоятельств формировались долговременные геополитические и духовные конфигурации, наши правители поставили не на ту карту: руководствуясь идеей «пусть малое, зато наше», они замкнулись в себе, вознесли свои провинциальные распри выше судеб будущих поколений и изгнали нашего, быть может, первого европейски признанного и влиятельного, но возмущающего спокойствие просветителя за пределы своих владений, не остановившись перед тем, чтобы надолго ослабить участие нашего общества в цивилизационном процессе эпохи. Размер и влияние разного рода явных и скрытых, прямых и косвенных последствий тогдашнего выбора чехов мы уже едва ли сумеем выяснить.

Разумеется, можно было бы привести и другие примеры того, как в отдаленном и не столь отдаленном прошлом мы, никем не принуждаемые, принимали исторические решения в ущерб самим себе.

Почему я об этом говорю? Я уже давно задаюсь вопросом, не стоим ли мы также сегодня на таком историческом перепутье. Как это ни парадоксально, возможно, не эйфорические дни ноябрьской революции ознаменовали важнейший перекресток нашей истории на рубеже нынешнего тысячелетия. Может быть, в гораздо большей степени мы очутились на таком перекрестке сейчас, десять лет спустя. Ибо только теперь мы стоим перед действительно свободным выбором пути, которым мы двинемся дальше. И кто знает, не сопоставимо ли историческое значение этого решения с тем, какое имел выбор чехов тысячу лет назад.

Конечно, влиятельные семейства сегодня не истребляют друг друга, и господина кардинала никто не пытается изгнать из Чехии.

И все же в наши дни принимается некое крайне важное решение — хотя, может быть, это происходит лишь постепенно, незаметно и скорее ощущается в подтексте политических дебатов и поведения, чем проявляется в их видимом содержании.

Наша сегодняшняя дилемма гласит: верим ли мы в беспрецедентный исторический, духовный, политический и экономический смысл европейской интеграции и хотим ли участвовать в ней со всей возможной энергией и усердием, что, естественно, потребует немалых жертв, — или предпочтем, так сказать, заботиться лишь о самих себе, то есть только (или главным образом) о вещах, которые нас в этом уголке земного шара и в данный момент непосредственно касаются? Возьмем ли мы на себя в полной мере свою долю ответственности за Европу, мир и будущее нашей противоречивой цивилизации — или предпримем сумасбродную попытку замкнуться в некоем анклав, который для верности обнесем всяческими стенами, будь они возведены из бетона или из виз, из таможенных пошлин и квот на импорт, из запрета злым иностранцам приобретать у нас дома и что бы то ни было другое, а то и, к примеру, из разрешений на выезд за границу? Научимся ли мы гибко воспринимать европейские правовые нормы и оперативно бороться со злом там, где это необходимо, или поставим выше всего этого чувство, будто медлительность законодательной процедуры есть неотъемлемый признак государственного суверенитета и национальной гордости? Станем ли кричать вместе с защищаемыми у нас — иногда даже полицией — бритоголовыми «Мы чехи, кто выше нас?», или вспомним об универсальности великих гуманистов нашего прошлого?

Иными словами: какого рода патриотизм мы выберем или какому пониманию патриотизма позволим возобладать в нашей политической и общественной жизни? Будет ли это патриотизм, заключающийся в самолюбовании, неприятии всего иного и заботе лишь о самих себе, или патриотизм как осознание того, что своей родине мы более всего послужим разумным и ответственным участием во всем, в чем возможно и необходимо участвовать, чтобы мир в целом стал лучше?

Дорогие друзья,

разрешите мне в ознаменование сегодняшнего праздника выразить надежду, что на этом судьбоносном перепутье мы примем правильное решение, и наградить нескольких наших сограждан, хотя иных, к сожалению, посмертно, за то, что они сделали для нашей родины в духе того типа патриотизма, который основан не на любви к себе, а на любви к ближнему.

Благодарю за внимание.

**Речь по случаю Дня борьбы студентов за свободу и демократию
(Прага, 17 ноября 1999 г.)**

Дамы и господа, уважаемые присутствующие,

ровно десять лет тому назад коммунистические власти Чехословакии жестоко разогнали мирную демонстрацию студентов, которые решили почтить память студента Яна Оплетала — одной из первых у нас жертв нацизма. Эта акция переросла, как говорится, в снежный ком, который увлек за собой лавину. Вскоре после этого наши площади заполнили сотни тысяч граждан, которые ясно дали понять, что они уже сыты жизнью в неволе. Режим, в распоряжении которого были все мыслимые инструменты власти, подчинивший себе средства информации и экономику, перед лицом этой мирной, но решительно выраженной воли народа, начал рассыпаться, как картонный домик.

Волнующие дни всенародной солидарности, готовности идти на жертвы, воодушевления и безграничной радости в связи с падением тоталитарного режима давно миновали, и мы долгие годы — то с большим, то с меньшим успехом — пытаемся справиться с тяжелыми последствиями, к которым привели десятилетия коммунистического правления в нашей стране. У нас в муках рождалась и развивалась плюралистичная политическая система, в муках рождается действительно правовое государство, в муках рождались и учились функционировать демократические институты, государственная экономика с огромным трудом преобразовывалась и по сути дела до сих пор преобразуется в рыночную. Труднее же всего нам справиться с пагубным наследием, какое оставили по себе в наших душах прежние времена, и со всяческим злом, которое в нас дремало и которому дала выход обретенная нами свобода.

Эти наши будничные тяготы, из-за которых мы на каждом шагу впадаем в безнадежное отчаяние, однако, ничтожны в сравнении с исторической значимостью крушения коммунизма в мире, послужившего фоном для наших ноябрьских событий 1989 года. Наша революция, если можно так выразиться, не свалилась с неба. Она была органичной частью глобального процесса, когда начинала неудержимо разваливаться и распадаться система, построенная на лжи, ненависти и насилии, которая лишала человека основных его прав, подавляла само существование жизни и под флагом завлекательных утопий пыталась силой остановить историю.

Только сегодня, спустя десять лет, мы в полной мере сознаем величие и многообразие задач, какие поставили перед нами эти исторические перемены. Рухнуло двухполюсное разделение мира, и наступило время строительства совершенно нового, справедливого и отвечающего наставшей эпохе оборонного, политического и экономического порядка. Пришло время, вызывающее к новому пониманию современного мира как мира многополюсного, мультикультурного и взаимосвязанного и к последовательному реформированию всех международных организаций и институтов с тем, чтобы они отражали это новое понимание мира и были способны в его духе решать многотрудные задачи грядущей эпохи. Мы должны с полной решимостью искать способы противостоять всякого рода злу, какое высвободило во всей его широте и глубине крушение прежнего порядка. Я имею в виду слепой национализм и взаимную ненависть между различными сообществами, живущими на нашей планете, организованную преступность, располагающую невиданными до сих пор техническими возможностями, международный терроризм, торговлю наркотиками, бесчеловечные последствия быстрого роста городских агломераций, опасность того, что человечество не сможет контролировать ядерное оружие или информационные системы, которые оно само же и изобрело, как и экологические последствия своего развития, углубляющиеся социальные противоречия в сочетании с быстрым ростом народонаселения и с нашей неспособностью регулировать разнообразные сложные формы глобальной рыночной экономики таким образом, чтобы она не сдерживала развитие жизни, а по-настоящему способствовала ему.

Я убежден, что падение коммунизма означало не просто освобождение миллионов угнетенных и униженных, но что оно во многих отношениях апеллировало к современной цивилизации, чтобы эта последняя вновь, на сей раз по-настоящему, попыталась осмыслить свое положение, свои ориентиры, опасности, ей грозящие, и отыскать способы обрести или возродить свою ответственность за себя саму. Неправда, будто в этом деле не на что опереться: где-то в недрах всех основных религиозных систем современного мира сокрыта, или заката, одна и та же идея. Остается только осознать ее и принять.

Уважаемые присутствующие,

вы, конечно, поняли, почему я сосредоточился сегодня скорее на более общих взаимосвязях и последствиях событий, годовщину которых мы отмечаем, нежели на простом суммировании того, что мы пережили за эти десять лет: не случайно, приняв мое приглашение, в Прагу сегодня прибыло несколько личностей мирового масштаба, сыгравших огромную и исключительную роль в то драматическое время, когда рушился старый мир.

Мы должны думать прежде всего о будущем. Но для того чтобы подобные мысли покоились на прочном фундаменте, мы не должны забывать также о прошлом. То есть и о тех, кому мы обязаны всем хорошим, что наше будущее унаследует от прошлого.

Уважаемые гости, поздравляю вас с вручением высшей награды Чешской Республики!²¹

²¹ По случаю десятилетней годовщины «бархатной революции» 1989 года М. С. Горбачев, Л. Валенса, Дж. Буш, М. Тэтчер, Г. Коль и (посмертно) Ф. Миттеран были награждены орденом Белого Льва.